

18+



РОМАН
**КРЕСТ
И ЖЕЛЕЗО**

Анатолий Тришков

Анатолий Тришков

Крест и железо. Полная версия

<https://litres.ru/74148524>

ISBN 9785006998421

Аннотация

Россия конца XVIII — начала XIX века.

Время, когда за поступок приходится платить сполна.

Он был офицером. Дворянином. Человеком с будущим.

Но один выбор лишает его всего — имени, положения, судьбы.

Впереди — дорога на край света. Охотск.

Холод, каторга, чужие люди и жизнь, где ошибка стоит слишком дорого.

Здесь выживают не сильнейшие — а те, кто не позволяет себе сломаться.

«Крест и железо» — жёсткая и честная история о цене выбора, свободе и человеческой воле.

Содержание

Глава 1.	6
Глава 2.	13
Глава 3.	15
Глава 4.	23
Глава 5.	27
Глава 6. Битва	31
Глава 7. Суд	34
Глава 8.	40
Глава 9.	44
Глава 10.	52
Глава 11. Скорбь	57
#	65
Глава 1.	65
Глава 2.	77
Глава 3. Встреча	84
Глава 4. Баня	91
Глава 5. Пир	94
Глава 6. Кабинет	102
#	109
Глава 1.	109
Глава 2.	121
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Крест и железо

Полная версия

Анатолий Тришков

© Анатолий Тришков, 2026

ISBN 978-5-0069-9842-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

#

Выражаю благодарность главе Охотского муниципального округа Хабаровского края Максиму Александровичу Климову за содействие в издании этой книги и неравнодушное участие в сохранении исторической памяти Охотской земли.

Благодарю Виктора Евгеньевича Морокова, много лет возглавлявшего Охотский музей, — человека, который грамотно и глубоко заинтересовал меня историей края, истинного патриота и бережного хранителя его прошлого.

#

#

#

#

##

##

#

##

#

##

##

Книга первая

Корни

Глава 1.

Земля и кровь

Калужская губерния, лето 1782 года
от Рождества Христова.

Усадьба «Отрадное» генерал-майора в отставке Ильи Николаевича Трубникова.

Илья Николаевич сидел на крыльце, попыхивая трубкой, и смотрел, как на гумне молотят хлеб. Левая рука, чуть скованная, лежала на колене — память о турецкой картечи, что вошла в плечо под Бендерами. Тогда он прокусил кожаный ремень и не издал ни звука, только смотрел в потолок походной палатки, считая мушиные пятна. Годы, а их ему перевалило за шестьдесят, не согнули спину, лишь посеребрили виски и жёсткую щетину бакенбард.

Мужики на гумне работали споро, но без надрыва. Знали: барин не станет выматывать непосильным оброком или барщиной. Помнил, как сам с солдатами в грязи по колено ходил.

Из дома донёсся звонкий, требовательный плач младенца.

Анна Васильевна, жена генерала, вышла на крыльцо, вытирая руки о передник, и присела рядом. Молчали они легко, как молчат люди, прожившие вместе тридцать лет. Она взяла его левую руку, ту, что плохо разгибалась, и начала медленно разминать пальцы.

— Иоська скоро напишет, — сказала она.

— Напишет, — согласился он.

Ныне в доме была особая радость: в гости из Кронштадта прибыла дочь Мария Ильинична с мужем, капитаном 2-го ранга Степаном Фёдоровичем Волковым. В доме запахло морской солью и табаком, зазвучали рассказы о Балтике, штормах и корабельных делах.

Радостью и светом всего дома был внук Александр, годовалый крепыш, ревущий на всю усадьбу. Жила с ним в «Отрадном» и его мать, Людмила Юрьевна, молодая жена Иосифа. Из хорошей, но небогатой семьи, она читала Руссо и скучала по столичному обществу, но всей душой привязалась к сыну и с почтительной нежностью ухаживала за стариками Трубниковыми. Однако за мягкостью её манер скрывался характер твёрдый, как закалённая сталь. Она умела смотреть правде в глаза и не боялась трудных решений.

— Эта, — говорил он иногда жене, кивая на сноху, — не из пугливых. В ней порода чувствуется. Наша.

Анна Васильевна согласно кивала, хотя порой опасалась, что слишком уж много в Людмиле Юрьевне этой самой породы.

Дворовых людей было человек двадцать. Главной в женской половине была ключница Арина, бывшая нянька самого Ильи Николаевича, женщина властная, знающая все тайны дома. Лакей Фомка, ухарь и щёголь, виртуозно управлялся с самоваром и бритвой. Кучер Стёпка с лихими усами, гордость конюшни, где стояли не скакуны, но выносливые, сильные битюги и пара резвых рысаков для брички. Повар Михей, толстый и важный, чей борщ и кулебяки славились по всей округе.

Но истинной опорой поместья был управляющий Игнатий — мужчина лет сорока, богатырского сложения, с умными, хитроватыми глазами. Грамоте выучился сам, по псалтырю, а сметки в нём было на десятерых. Все дела в имении шли как по маслу.

— Игнат, — говаривал генерал, глядя на аккуратные стога и сытые крестьянские лица, — у тебя голова не иначе как из чугуна отлита.

— Ваше превосходительство, — отвечал Игнат, — я, может, и чугунный, зато ржавчина меня не берёт. А вот у иных головы из рябины сделаны — и красиво, и резно, а чуть дождь — гниют.

Генерал смеялся, ценя в управляющем не только хозяйственную хватку, но и острый язык.

Помогал ему младший брат Глеб, такой же сильный и работящий, но более молчаливый. Однако молчаливость его была обманчива — в редких случаях он мог выдать такое, что заставляло задуматься на неделю вперёд.

Игнат с семьёй жил в отдельной крепкой избе на краю усадьбы, а Глеб, после того как его избу вместе с молодой женой пожрал «огненный петух», временно поселился в избе у Степана.

Братья пользовались особым доверием барина.

Но даже в этот, казалось бы, идиллический мирок проникал холодный ветер страха. По всей губернии, по лесам и большакам, уже полгода рыскала банда. Возглавлял её татарин Гурей, бывший пугачёвский пособник, избежавший виселицы. Шесть лет назад, после разгрома бунта, он, раненый,

ушёл на восток, за Волгу. Скитался в раскольниковых скитах на Урале, в казачьих станицах на Яике, в рабочих артелях на соляных промыслах. Шесть лет скитаний озлобили его, выковали из страха и ненависти холодную, острую сталь. Он вернулся не для жизни, а для мщенья и воли.

Его ватага — человек двадцать таких же отчаянных беглых, каторжников — промышляла разбоем. Они не трогали мужиков — те их и кормили, и укрывали из страха. Их добыча — купеческие обозы, мелкопоместные дворяне. Действовали жестоко и быстро. Говорили, Гурей поклялся жечь и резать до тех пор, пока не сгинет последний крепостник и царёв холоп.

В «Отрадном» об этом говорили шёпотом. Илья Николаевич, получив тревожные вести от соседа, отставного секунд-майора Крюкова, чьё имение было разграблено, а управляющий зарублен, принял меры. Старый солдат проснулся в нём. Он велел Игнатию и Глебу отобрать десяток самых надёжных мужиков, выдать им из тайника спрятанные после службы мушкетоны и пистолы. Сам каждый вечер обходил двор, проверял запоры. В его кабинете теперь лежали на столе не только газеты, но и отлично начищенный тяжёлый кавалерийский палаш, а на стене висели дуэльные пистолеты с серебряной насечкой.

— Не за себя тревожусь, — говорил он жене, куря трубку на крыльце. — За вас, за невестку, за внука, дочку... Да и за людей своих. Экое исчадие, Гурей... Пугачёвщина, она, Аннушка, не кончилась. Она под землю ушла, да корни пустила.

— Илья, — тихо отвечала Анна Васильевна, — а ты не думаешь, что мы сами этих волков породили? Что цепи, что клейма — всё это корм для такой вот злобы?

Генерал затаился, выпустил дым в звёздное небо.

— Думаю, Аннушка. Иной раз ночью проснусь и думаю. Только вот что делать? Прикажешь всех отпустить на волю? А они тогда что будут делать? Не готовы они. Сначала нужно, чтобы человек внутри себя созрел для воли. А созреет ли — это уже от Господа.

— А Гурей, выходит, не созрел?

— Гурей, — генерал усмехнулся горько, — Гурей созрел для одного — для ненависти. Это не воля, это её вывих. Как вывихнутая нога — вроде и ходит, да каждый шаг — боль. И другим больно.

В окно льётся мягкий летний сумрак. В доме тепло, пах-

нет пирогами и яблоками. Людмила Юрьевна качает колыбельку с маленьким Александром, и её красивое, строгое лицо в полумраке кажется вырезанным из слоновой кости. Она не боится — по крайней мере, не показывает страха. Свёкор прав: в ней есть порода. Но за этим покоем, за опушкой темнеющего леса, уже чувствуется чужой, внимательный взгляд.

А в лесу, в двадцати верстах от «Отрадного», у потухшего поташного завода, у костра сидел худой, смуглый человек с раскосыми глазами. Гурей держал на коленях кривую саблю, проводя по лезвию оселком — мерно, неторопливо, как батюшка, читающий псалтырь. Камень скользил по стали с тихим, противным звуком, похожим на скрип мыши, попавшей в капкан.

— Крепкий орешек, — думал он, плюя в огонь. — Но и у старого пса зубы выпадают. Подождём. Узнаем, где слабое место.

Летняя ночь над Калужской губернией, напоённая запахом сена и цветущей липы, становилась тревожной и зловещей.

Глава 2.

Волчья стая

Банда Гурей жила не как разбойничья вольница, а как военный лагерь на положении осады. Сам Гурей был не просто удалцом, а старым солдатом, служившим когда-то в иррегулярной коннице. Он знал цену разведке. Сидеть в лесу и ждать удачи — удел дураков. Нужны были «языки» и «глаза».

Лагерь был устроен хитро: в полуразрушенных кирпичных сараях завода, где гулял сквозняк и не задерживался дым от костров. Коней держали в отдалении, в лощине, чтобы не слышно было ржания. Дисциплина поддерживалась страхом и жестокостью. За пьянство в неурочный час — порка. За неповиновение — пуля в лоб. Добычу делил сам Гурей, оставляя себе золото и оружие, а прочее раздавая по заслугам. Бандиты, человек двадцать пять, были сборищем отчаянных: беглый каторжник Мартын с клеймом на щеке, отчаянный стрелок; бывший солдат-дезертир Сидор, знавший строй; пара однодворцев, озлобившихся на весь свет.

Гурей вызвал к себе самого невзрачного и хитрого воишку из Калуги Севку Косого, местного бродягу, знавше-

го окрестные деревни. Задание было простое: под видом богомольца, идущего на поклон в монастырь, пробраться в сёла вокруг «Отрадного». Узнать всё: сколько дворовых, есть ли сторожа, где конюшни, каковы привычки барина. Особый приказ: разузнать про управляющего Игнатия и его брата — кто они и каков их норов.

— Ступай, — сказал Гурей, его раскосые глаза сузились до щёлочек. — Языком болтать не след. Уши развесить, глаз вытаращить. Проболтаешься — язык на гвоздь приколю. Через три дня быть назад.

Севка, перекрестившись для виду, растворился в лесной чаще.

Глава 3.

Глаза и уши

В «Отрадном» тоже не дремали. Если Игнатий был мозгом обороны, то Глеб — её глазами и руками. Молчаливый, как рыба, он обладал звериным чутьём на ложь и опасность. И он знал, что лучшие лазутчики — деревенские мальчишки.

В тот день Глеб сидел на завалинке у избы, и строгал толстую палку. Нож ходил по дереву ровно, снимая длинные, лёгкие стружки. Палка была из крепкого ясеня, прямая, с сучком на конце, который Глеб не стал срезать, а, наоборот, заострил, придав ей нехитрый, но внушительный вид.

Из-за угла выскочил Ванька-Горн, сын кузнеца, — парнишка лет двенадцати, с любопытными глазами и вечно расчёпанными вихрами. Он присел рядом, посмотрел на палку, потом на Глеба.

— Дядя Глеб, а зачем ты палку точишь?

Глеб не поднял головы, продолжая работу.

— Собак воспитывать.

Ванька удивился:

— У нас собак во дворе нет, все свои, смирные.

Глеб отложил нож, повертел палку в руках, проверяя, удобно ли лежит в ладони.

— Есть, Ванька. Двухногие. Ванька притих, вглядываясь в лицо Глеба. Тот говорил спокойно, даже буднично, но что-то в его голосе заставило мальчика насторожиться.

— А ты сам-то таких встречал? — спросил он тихо.

Глеб усмехнулся — невесело, одними глазами.

— Встречал. И не раз. Теперь вот готовлюсь.

Он поднял палку, взвесил на ладони.

— А вы, пацанва, мне поможете. Вы везде суетесь, вас никто не замечает. Как мыши в амбаре. А мне надо знать, кто по округе шастает, кто в Заполье появляется, кто у попа на постоялом дворе ночует. Особенно новых примечайте. Кто глазами стреляет, кто про барскую усадьбу выпрашивает. Заметили такого — бегом ко мне. Пряник дам.

— А если поймает? — Ванька уже вскочил, глаза горят.

— Поймаете — честь вам и хвала. А не поймаете — тоже честь, потому что предупредите. Главное в нашем деле, Ванька, — не геройство, а вовремя сказанное слово. Одно слово может стоить сотни жизней. Запомни.

Ванька серьёзно кивнул, и Глеб увидел в его глазах не детский страх, а понимание.

— А дядя Глеб, — спросил мальчик, уже отбежав, — а эта палка... ты её для кого точил? Для тех, кто придёт?

Глеб снова взялся за нож.

— Для тех, кто раньше придёт. Остальным — другим способом объяснять буду. Беги давай, да смотри, не забудь, что я сказал.

Ванька сорвался с места, и Глеб смотрел ему вслед, пока пацан не скрылся за углом. Потом он перевёл взгляд на лес — тёмный, настороженный, притихший в предчувствии чего-то недоброго. Палка легла на колени, нож замер в руке.

— Псы двуногие, — пробормотал он себе под нос. — Чу-

ют, где пожива. Чуют. А мы их встретим.

Он поднялся, сунул нож за пояс, палку пристроил у крыльца — на видном месте, чтобы сразу в руку легла. Потом пошёл к дому, где ждали его, где слышался тихий голос Алёны, его жены, и деловитое позвякивание посуды. Но шаг его был нетороплив, и взгляд то и дело возвращался к опушке леса.

Система сработала. На второй день Ванька примчался запыхавшийся:

— Дядя Глеб! В Заполье мужик новый, Севкой звать, ко-сой, у попа на дворе ночует. Все про барскую усадьбу спрашивает, сколько коней, куда барин ездит... А глаза бегают, бегают!

Глеб не стал медлить. Взяв двух верных конюхов, он ночью нагрянул на попов двор. Севка, застигнутый врасплох, попытался было отбрехаться, но Глеб, не говоря ни слова, двинул ему кулаком под дых. Шпион ахнул и согнулся. Его скрутили, заткнули рот тряпкой и, как мешок, перекинули через седло.

Привезли не в барский дом, а в баню на задворках. Глеб действовал методично и жестоко, как и учил его брат: «Спер-

ва страх, потом правда». Он не стал бить сразу. Привязал Севку к столбу, зажёг лучину. Лицо Глеба в прыгающих тенях казалось каменным.

— Говори, посланник Гуреев. Зачем пришёл? Кто ещё с тобой?

Севка бледнел, бормотал о богомолье.

Глеб вздохнул, достал из-за пояса плеток — короткий, толстый кнут для собак.

— Ты знаешь, Севка, — сказал он почти задушевно, — у нас в лесу есть такая поговорка: «Волк зубами силён, а лиса хвостом. А человек — правдой». Ты кто сегодня: волк, лиса или человек?

— Богомолец я, — пролепетал Севка.

— Значит, лиса, — заключил Глеб. — Ну что ж, лис мы тоже бивали.

Первый удар со свистом рассёк рубаху на спине. Севка взвыл.

— Второй раз спрашиваю. Для Гуреева шпионишь?

— Нет! Божья...

Второй удар был точнее и сильнее. Кровь проступила сквозь ткань.

— Третий — рёбра переломаю. Гурей? План?

Боль и животный страх сломили волю мелкого сошки. Слезы хлынули из его единственного прямого глаза.

— Он... Гурей! Послал меня... Узнать про усадьбу... про стражу... когда обоз в город... Ой, родимые, не бейте больше!

Избитого и трясущегося от страха Севку привели к Илье Николаевичу в кабинет. Генерал сидел за столом, положив перед собой палаш. Рядом стояли капитан Волков и Игнатий, мрачный, как туча. Допрос был краток и страшен не физической силой, а холодной, неумолимой властью.

— Имя атамана?

— Гурей... татарин...

— Число? Оружие?

— Двадцать, может, двадцать пять... Конных половина...

— Цель?

— Вашу усадьбу, ваше превосходительство... Богатую слыл... Хотел разведку сделать, потом...

— Когда нападение?

— Не знаю, клянусь! Сказал, как разведку выслушает... Через неделю, может... После Петрова дня, когда на сенокос все уйдут...

Илья Николаевич переглянулся с Игнатием. Это была ценная информация. Банда сильна, организована, цель — именно «Отрадное». И срок — вот он, через несколько дней.

— Уведите его, — отрезал генерал. — В ледник. Под крепкий замок.

Когда шпиона увезли, Трубников повернулся к Игнатию:

— Ну, что скажешь, голова чугунная?

Игнатий усмехнулся:

— Скажу, ваше превосходительство, что волка ноги кор-
мят. А нам, чтобы волка поймать, нужно быть хитрее его. Не
обороняться — он этого ждёт. А встретить так, чтобы он не
ждал.

— Это ты к чему?

— К тому, что лес вокруг нас большой. А Гурей — зверь
умный. Он не пойдёт на рожон, если поймёт, что его ждут.
Нужно сделать вид, что мы его не ждём. Что мы спим. А
спать будем с открытыми глазами.

Генерал хлопнул ладонью по столу.

— Вот это я понимаю! Действуй, Игнат.

Глава 4.

Крепость «Отрадное»

В усадьбе закипела работа. Старый солдат в Илье Николаевиче проснулся полностью.

— Господа, — обратился он к собравшимся в кабинете, разворачивая карту, — война — это не когда стреляют. Война — это когда думают, а стреляют потом. Первое правило обороны: знай местность. Второе: знай противника. Третье: знай себя. Первое мы знаем, второе выяснили, третье — сейчас определим.

Он ткнул пальцем в карту:

— Вот усадьба. Вот лес. Гурей пойдёт через сад — там забор ниже. Бить будет ночью, под утро. Значит, мы не спим. Игнатий и Глеб соберут дружину.

Игнатий и Глеб собрали дружину. Не только дворовых, но и самых надёжных крестьян из деревень, тех, кто служил в солдатах или просто был отчаянно смел. Всего набралось тридцать человек. Вооружались кто чем. Илья Николаевич велел открыть старый арсенал в людской — там на-

шло с десятков кремнёвых ружей, ещё екатерининских времён: мушкетоны, смазанные, завёрнутые в промасленную ветошь. Их раздали тем, кто умел стрелять. Остальным достались охотничьи одностволки, кое-как пристрелянные, а то и просто — вилы, заточенные косы, топоры. Игнатий, раздавая, приговаривал:

— Смотрите, патрон береги. Один выстрел — одна жизнь. Лишний выстрел — твоя жизнь. Поняли?

— Поняли, Игнатий Кузьмич, — раздалось в ответ.

— А теперь, — усмехнулся управляющий, — когда барин скажет «Пли!», вы не просто на курок жмите, а целитесь. В того, кто перед вами. Промех — это не дармовой порох. Это шанс для врага.

Генерал отправил Глеба с письмами к ближайшим помещикам. Ответ пришёл быстро: соседи прислали ещё восемь человек.

Господский дом превратили в крепость: нижние окна забили досками, оставив бойницы. Ворота и забор укрепили брёвнами. Перед воротами сколотили «рогатки» — железные колючки. За кустами вырыли «волчьи ямы» с заострёнными кольями. По периметру навешали на забор пустые горшки — сигнализацию.

Большой полуподвал подготовили как последний рубеж:

туда снесли ценности, воду, еду. Туда же должны были уйти женщины и дети при тревоге.

Игнатий предложил хитрость. Часть стрелков спрятали не в доме, а в амбаре напротив ворот и конюшне. Глеб с самыми отчаянными мужиками составил резервную дружину для рукопашной.

— Глеб, — спросил Игнатий брата, — ты не боишься?

— Боюсь, — честно ответил Глеб. — Страшно — это нормально. Кто не боится, тот не живёт. Но страх разный бывает. Один парализует, другой заставляет шевелиться. Я боюсь, значит, я живой. А живой я буду драться.

— Философ, — усмехнулся Игнатий.

— Не философ. Охотник. А охота, брат, она всему учит. В том числе и тому, что бояться надо, но делать своё дело. И ещё — что иногда лучше подождать, чем броситься. Потому что терпение — это тоже оружие. Может, и главное.

Вечером накануне Петрова дня Илья Николаевич собрал всех защитников во дворе. Он вышел в старом мундирном сюртуке, с Георгиевским крестом на ленте.

— Мужики! — прогремел его голос. — Завтра ждём гостей лихих. Не для себя — для барынь, для дитяти малого, для своего же добра стоим! Помните: они — воры и душегубы. Мы — за правое дело. Стрелять метко, стоять насмерть! Кто устоит — тому воля и награда от меня личная. Кто струсит — тому позор на весь род. Держись друг за друга, как в строю! С нами Бог и святая справедливость!

В ответ грянуло нестройное, но дружное: «Рады стараться, ваше превосходительство!»

Генерал поморщился.

Игнатий же, стоявший позади, добавил:

— А ежели кто струсит — сам себе судья. Только помните: трус в бою не просто себя губит — он товарища подставляет. А у нас, в Отрадном, товарищей не бросают.

Глава 5.

Ночь перед битвой

Вечер накануне атаки был неестественно тихим. Солнце заливало «Отрадное» густым, медовым светом. Даже кузнечики смолкли.

В усадьбе царило напряжённое спокойствие. Мужики последний раз проверяли ружья. Женщины носили в подвал воду и сухари.

Илья Николаевич стоял на крыльце, курил трубку и смотрел на закат. Он не видел красоты — он читал местность как карту будущего сражения.

— Илья Николаевич, — тихо подошла к нему Людмила.

— Что, невестка?

— Если придётся... если они прорвутся... что мне делать с Сашенькой?

Генерал обернулся. Посмотрел на неё долгим взглядом.

— Что делают волчицы, когда в логово лезут охотники?

Людмила Юрьевна поняла. Кивнула.

— Я хотела услышать это от вас.

— Ты и так знала. Просто хотела услышать, что я тебя не осужу. Не осужу, Людмила. Никогда.

Она усмехнулась — горько, по-мужски.

— Я просто мать.

— Вот именно, — кивнул генерал. — Просто мать. Это страшнее любого солдата.

В комнате наверху Анна Васильевна неторопливо, но уверенно заряжала свой лёгкий мушкетон — тот самый, из которого Илья Николаевич когда-то учил её стрелять по мишеням на задворках. Учил терпеливо, с солдатским спокойствием: «Сперва приклад к плечу, потом целься, потом дыши, потом — спускай курок. Не спеши. Пуля не голубь, она своё найдёт». Она помнила каждое его слово. Пальцы, привыкшие к вышивальному пяльцу и игле, сейчас уверенно вставляли шомпол, досылали пыж, забивали пулю. Делали они это без суеты, с той спокойной твёрдостью, которая при-

ходит, когда знаешь, что защищаешь дом и внука.

В лесу, у поташного завода, царила лихорадка загнанных волков. Гурей сидел у костра, глядя, как огонь пожирает хвост, и молча перебирал в памяти каждую деталь того, что успел узнать о Трубникове. Его люди, человек двадцать, глушили остатки страха самогоном и дикой злобой. Они чуяли смерть, но голод и злоба перевешивали.

— Атаман, — подошёл Мартын, — шпион не вернулся.

— Знаю.

— Может, передумаем? Другую усадьбу возьмём?

Гурей поднял глаза.

— Слабак. Думаешь, они нас не ждут? Ждут. И что? Волка боятся — в лес не ходить. А мы — волки. Наша жизнь — охота. А охота — это риск. Сегодня мы берём эту усадьбу. Завтра — другую. А послезавтра — весь мир. Потому что кто не рискует, тот не живёт. Тот жрёт помой и радуется, что не бьют. А мы — мы сами бьём.

Мартын промолчал.

Природа замерла в предсмертном оцепенении. Небо придавило землю. Луна не светила, а точила мрак, отбрасывая длинные, искажённые тени. Воздух был густым и сладковато-прелым. Царила гробовая тишина.

В «Отрадном» дышали иначе. Тридцать грудей дышали ровно и глубоко. Илья Николаевич у бойницы. Рядом, бледная, стояла Анна Васильевна с заряженным мушкетонем, положив ствол на подоконник.

— Аннушка, — тихо сказал генерал, — может, всё же...

— Илья, — так же тихо ответила она, — ты меня знаешь. Я с тобой. Всегда. И ты меня учил — целиться спокойно. Вот я и спокойна.

В каменном погребе Людмила Юрьевна прижимала к груди спящего Сашеньку. Каждый её нерв был струной, готовой лопнуть. Она не молилась — она ждала.

Капитан Волков командовал обороной. Игнатий ползал по периметру. Глеб стоял в горле садового капкана, сросшийся с косой.

Глава 6. Битва

Они явились из мрака не крича, а шипя. Первый сигнал — хруст сломанной ветки. Мгновение тишины, и с фронта взметнулось пламя факелов, загрохотали выстрелы.

— Отвод! Не целиться! Лежать! — рявкнул Волков.

В саду началось главное. Десять теней, ведомых Гуреем, перевалили через забор. Земля разверзлась. Первый провалился в яму. Второй наступил на «волчью яму», его ступня, пробитая колом, пригвоздила его к земле.

— Огонь! — крикнул генерал.

С амбара и конюшни грянул залп. Один из нападавших, нёсший факел, закрутился на месте, из его груди хлестнула кровь.

Из-за каждой яблони поднялись мужики. Вилы входили в тела с тем же мокрым хрустом, что и в сено. Дубины разбивали черепа.

Паника охватила ватагу. Они бросились назад и наткнулись на Глеба.

Он встретил их тишиной. Первый, здоровенный детина с топором, ринулся на него. Глеб сделал один шаг — коса снесла голову. Второго распорол от паха до груди. Тот успел увидеть, как его собственные кишки вываливаются на руки.

Глеб косил кровавую жатву. Мужики Игнатия добивали раненых.

В этот момент расчётливый ум Гурья сработал с ледяной скоростью. Он понял, что битва проиграна. Но ему нужен был акт чудовищного злодейства.

Он отполз в тень старой липы. Его глаза выхватили две детали. Первая: Игнатий, командовавший мужиками. Вторая: из окна полуподвала пробивался свет и мелькнуло лицо Людмилы Юрьевны с ребёнком.

Он подкрался к окну. Его взгляд был прикован к молодой женщине. Он не видел, как Игнатий заметил силуэт и ствол пистолета, направленный в окно. Управляющий с рёвом бросился наперерез и телом навалился на ставень.

Пуля прошла дерево в сантиметре от его головы.

Этот момент видела Анна Васильевна из окна мезонина.

Её мир сузился до перекрестья прицела. Руки, помнившие уроки мужа, сами вскинули мушкетон, сами поймали цель. Она выдохнула, как учил Илья, и спустила курок.

Пуля сорвала Гурею мочку уха и чиркнула по скуле. Он вскрикнул и выронил пистолет.

— Вяжи его! — загремел Волков.

Гурея скрутили. Пленных сбросили в ледник.

Бой выдохся. В саду лежали изуродованные тела. Глеб, прислонившись к липе, медленно сползал. Его нога была раздроблена.

Глава 7. Суд

Солнце уже клонилось к закату, когда со стороны большака донёлся конский топот. В усадьбе уже успели убрать тела, и воздух пах порохом, кровью и той особенной, горькой свежестью, что бывает после долгой грозы. Пленных согнали в ледник и навалили сверху брёвна — на всякий случай.

Илья Николаевич сидел на крыльце, положив на колени палаш, и смотрел, как багровеет край неба. Рядом, опираясь на клюку, стоял Игнат.

— Едут, — сказал он глухо.

Из-за поворота показались всадники. Пятеро, в запylённых мундирах, при оружии. Передний, грузный, с лицом, изрезанным морщинами, осадил коня, окинул взглядом двор.

— Капитан-исправник Мещовского нижнего земского суда Родин Игорь Анатольевич, — представился он, не слезая. — Вечор получил известие. Шли ночь, меняли коней на станциях.

Он спрыгнул на землю, оправил мундир, и только тогда в его глазах мелькнула усталость человека, который двое суток

не спал.

— Опоздали мы к сече, ваше превосходительство, — сказал он, глядя на изрубленные ворота. — Но дело теперь за мной.

— Дело простое, — ответил генерал. — Двадцать пять разбойников, атаман — бывший пугачёвский. Живых — восемь. Мои люди их взяли. По суду предлагаю так: главарю — плети и каторга, остальным — смерть.

Родин крикнул, потирая затёкшую шею.

— По форме, ваше превосходительство, так по форме.

Он велел своим спешиться, выставить караул у ледника и, прихватив походную канцелярию — окованный медью ящик с бумагами, — прошёл в дом.

В столовой зажгли свечи. Родин разложил бумаги, вынул предписание из губернского правления, прочёл вслух, как требовал порядок. Потом принялся за допросы: Игнатий рассказывал, с паузами, капитан Волков — чётко, по-военному. Два мужика из дружины, ещё не отошедшие после ночи, совали заскорузлые пальцы к бумаге, ставили кресты.

— Пойду взгляну на атамана, — сказал Родин, когда всё было записано.

В леднике было сыро и темно. Гурей сидел у стены, скрученный, с запёкшейся кровью на лице. При свете фонаря исправник долго всматривался в его смуглое, изрезанное шрамами лицо.

— Тот самый? — спросил он у генерала, стоявшего рядом.

— Тот самый.

Родин больше не спрашивал. Он вернулся в столовую, переписал бумаги набело, приложил печать.

— Утром, чуть свет, и свершим, — сказал он, откладывая перо.

Генерал хотел было возразить, но исправник перехватил его взгляд:

— Закон, ваше превосходительство. При дневном свете, при народе. Чтобы вся округа видела. Да и вам, чай, не с руки хоронить людей впотьмах.

Илья Николаевич кивнул, хотя знал: Родин прав. И ночь,

проведённая с разбойниками под одним кровом, была ему не по нутру. Однако спорить не стал.

Команда земской стражи расположилась на сеновале. Часовой заступил у ледника. В доме погасили огни, но спали в ту ночь немногие.

Утро пришло серое, без дождя. Двор уже заполнился народом — мужики из окрестных деревень, бабы с детьми, старики. Все хотели видеть, как свершится суд. Только земля у забора осталась чёрной, и в воздухе ещё тянуло гарью.

Пленных выволокли из ледника. Гурей стоял отдельно, молча, с окровавленным лицом. Остальные жались друг к другу, иные тряслись.

Родин вышел на крыльцо в чистом мундире, развернул бумагу, прочёл приговор громко, на весь двор. Голос его, привыкший к дорогам и погоням, звучал ровно, без дрожи.

Потом кивнул генералу. Тот шагнул вперёд.

— Гуря — к столбу!

Атамана привязали, сорвали рубаху. Палачом вызвался конюх, у которого в ночной сече убили брата. В руках у него

была плеть-семихвостка.

— Бей.

Первый удар рассек спину. Гурей стиснул зубы. К десятому спина превратилась в месиво, но он не издал ни звука. Отсчитали двадцать пять. Когда отвязали, атаман рухнул лицом вниз. Кузнец надел кандалы — тяжёлые, дорожные, заклепал замки.

— В погреб его, — распорядился исправник. — Завтра с обозом в Калугу, оттуда — в Сибирь.

Остальных повели к дубу. Виселицы приготовили с вечера. Родин зачитал приговор поимённо, спросил последнее слово — никто не ответил. Махнул рукой.

Тела вздёрнулись, медленно закрутились на утреннем свете. Толпа крестилась. Где-то баба завывала тонко, надрывно, но плач быстро угас, и стало тихо.

Когда всё кончилось, Родин вытер пот со лба и подошёл к генералу.

— Дело сделано, ваше превосходительство. Бумаги я сегодня же в уезд отправлю.

Виселицы сняли к вечеру. Тела увезли за околицу, зарыли без крестов. Команда исправника переночевала в людской, а на рассвете уехала, увозя в телеге скованного Гуря и пухлую папку с бумагами: «Дело считать оконченным».

Илья Николаевич проводил их взглядом, потом повернулся к дому, где уже хлопотала Анна Васильевна, где из окна выглядывал маленький Сашенька, и велел подавать завтракать.

Глава 8.

Новая жизнь

Осень 1782 года

Кровавый туман той августовской ночи медленно рассеивался, уступая место осенней прозрачности и тихой, ноющей работе скорби и памяти.

На третий день после мирского суда, свершившего свою жестокую и неотвратимую правду над Гуреем и его присными, у старой дубовой рощи за околицей собралась вся округа. Не было громких речей. Священник из соседнего погоста отслужил короткую панихиду по всем убиенным — и по защитникам, и по разбойникам. «Ибо все предстанут пред Господом», — глухо звучали слова под низким, свинцовым небом. Илья Николаевич, опираясь на палку (старая рана в ноге дала о себе знать после ночного напряжения), стоял без шапки, и по его щеке, изборождённой шрамами, скатилась единственная, тяжёлая слеза — не за врагов, а за ту ярость и страх, что пришлось пережить его земле. Анна Васильевна, ставшая после той ночи ещё тише и суше, поставила на общую могилу разбойников деревянный крест из старого забо-

ра. Не из милосердия, а как знак: здесь конец. Здесь предел. Пусть земля их стережёт, чтобы больше не вышли.

Усадьба залечивала раны. Следы боя в саду заровняли, землю перекопали заново. На месте «волчьих ям» теперь были свежие грядки под озимое. Пробитые пулями ставни починили, вставили новую слюду. Жизнь брала своё с упрямой, крестьянской неторопливостью. Но в воздухе витало новое чувство — не гордость, а общая усталость и сплочённость, выкованная в огне. Мужики, ходившие теперь в усадьбу, глядели барину и Игнатию прямо в глаза, без прежней подобострастной сноровки. Они выстояли. Это знали все.

Самым ярким лучом, пронзившим осеннюю грусть, стало событие в избе управляющего. У Игнатия и его жены Матрёны после долгих лет ожидания родился сын. Мальчика окрестили Ильёй — в честь барина. Это был не жест раболепия, а акт глубочайшей, немой связи. Когда Илья Николаевич, с трудом сдерживая волнение, стал крёстным отцом младенца, а Анна Васильевна поднесла матери серебряный образок, вся усадьба понимала: родился не просто ребёнок. Родился новый стержень, наследник не по крови, а по духу того, что отстояли. Глеб, ещё хромающий, но уже на ногах, стоял на крестинах, глядя на племянника своим молчаливым, исполненным взглядом, в котором таилась обещанная защита.

Последние жёлтые листья проводили в путь Марию Ильиничну и капитана Волкова. Кронштадт и служба звали. Прощание было не слезливым, но крепким. Степан Фёдорович, хмурый моряк, обнял тестя так, что затрещали кости:

— Крепко держись, Илья Николаевич. Коли что — весточку. Я хоть на краю света, а вышлю тебе целую роту бомбардиров.

Мария, плача, целовала маленького Сашеньку и шептала Людмиле Юрьевне:

— Береги их. Всех.

Карета тронулась, увозя с собой запах моря, отваги и ту тревожную теплоту, что приносят в дом гости, пережившие с тобой самое страшное.

«Отрадное» оставалось. Стояло, чуть посеревшее от осенних дождей, но непоколебимое. Дым из труб вился ровно и густо. В конюшне ржали кони, на гумне молотили хлеб. В кабинете генерал писал письмо сыну, поручику Иосифу, подробно, без прикрас, рассказывая обо всём. В колыбели лепетал маленький Александр. А в избе у окна Игнатий качал на руках своего маленького Илюшу, глядя, как за рекой садится багровое, осеннее солнце. Оно садилось на поле, поли-

тое когда-то кровью, но теперь просто на родную землю, которую предстояло пахать, сеять и защищать. Из дня в день. Из года в год.

Глава 9.

Весна и надежда

Апрель ворвался в «Отрадное» не теплом, а яркой, наглой сыростью. Снег сошёл, обнажив чёрную, дымящуюся паром землю. Почки на израненных яблонях в саду набухли, словно стараясь забыть прошлогодний ужас под новым соком. Воздух звенел от капли и звонкого, требовательного лепета, доносившегося из открытого окна господского дома.

Александр Иосифович, внук генерала, в свои два года был не просто ребёнком — он был живым знаменем, символом продолжения. Крепкий, румяный, с ясными, как апрельское небо, глазами, он уже уверенно сидел в резной дубовой качалке, сжимая в пухлых кулачках серебряную погремушку — подарок кронштадтских тётки и дяди. Его первый, осмысленный слог был не «мама», а «де-да», обращённый к суровому деду, который мог часами сидеть рядом, забыв о подагре и старых ранах, и шептать ему батальные истории, понятные лишь им двоим. Мальчик смеялся, и этот смех звенел по всему дому, смывая последние следы тяжёлого воспоминания, как весенний ручей смывает прошлогодний мусор.

Людмила Юрьевна, наблюдая за сыном, улыбалась редко,

но когда улыбалась — светлело всё вокруг. Она ждала вестей от мужа, и в её ожидании не было сентиментальной тоски, была спокойная, твёрдая вера. Иосиф вернётся. Он не мог не вернуться.

— Вы верите в приметы? — спросила она однажды свёкра за вечерним чаем.

— Какие приметы, невестка?

— Говорят, если в доме цветёт герань зимой — к вестям.

Генерал усмехнулся:

— В моём деле, Людмила, приметы — это то, что остаётся, когда логика заканчивается. А логика говорит: Иосиф — офицер хороший. Хорошие офицеры редко гибнут. Потому что умеют выбирать, где и когда воевать. Не геройствуют без нужды, но и не бегают. Так что жди. Дождёшься.

Она кивнула, и в её глазах мелькнула та самая твёрдость, которую так ценил в ней свёкор.

Самым живым чудом для всех стал Глеб. После боя рана его была страшной: кость выше колена раздроблена. Приезжий из Калуги доктор, осмотрев ногу, только головой пока-

чал: «Ампутация, и немедленно». Но Игнатий упросил барина дать срок. Привезли из дальней деревни старуху Агафью, знавшую силу трав да заговоров. Та шесть недель не отходила от Глеба. Пользовала его бараньим салом, настоящим на мухоморах и подорожнике, отваром из хвои и коры дуба, зашивала рану нитями из овечьих жил. И нога, к изумлению доктора, вновь приехавшего через два месяца, стала заживать. Кость срослась, хоть и оставила страшный, узловатый шрам. Сам Глеб, бледный и исхудавший, уже мог вставать, опираясь на толстую клюку из яблоневого дерева.

— Сила народная... непостижимо! — бормотал доктор.

— Не сила, — поправил Глеб. — Упрямство. Упрямство народное. Не хотим мы умирать, когда не до смерти.

В одно майское ясное утро, когда солнце уже разогрело крыльцо, Илья Николаевич приказал бить в набатный колокол — не тревожной дробью, а мерным, торжественным звоном. Со всех четырёх деревень, с мыз и хуторов, стал сходиться народ. Люди шли с любопытством, но без страха — звон был иным. На широком дворе, том самом, что в прошлом году был полем боя, теперь стояла толпа.

Генерал вышел на крыльцо. Рядом, бледная и серьёзная, стояла Анна Васильевна. В её руках лежал свёрток из тол-

стого пергамента.

— Люди добрые! — начал барин, и в голосе его звучала необычная мягкость. — Без малого год минул с той ночи, как мы сообща грудью встали за свой кров. Бог помог, и мы устояли. Пора и милость явить. По праву моему дворянскому, и по совести христианской, объявляю волю тем, кто особую храбрость и верность явил.

Толпа замерла. Давать вольную — дело неслыханное.

Он сделал паузу, обводя взглядом знакомые лица, застывшие в напряжённом ожидании.

— Еремей, кузнец из Заполья! Выходи!

Молодой, могучий кузнец, чьи вилы в ту ночь согнулись о бандитские рёбра, шагнул уверенно.

— Ты, Еремей, на сходе первый голос за оборону подал. И сына своего, Ваньку, в лазутчики дал. Твоя сила и ярость в бою нам подмогой были. И твой труд в кузне опора усадьбе. За доблесть и верность — тебе вольная. С землёй и с кузней твоей. Плати лишь оброк лёгкий, пока не встанешь на ноги.

Еремей выпрямился во весь свой рост, ударил себя кула-

ком в грудь — глухой, как удар молота по наковальне, звук — и громко сказал:

— Служил и буду служить, Илья Николаевич! По совести, а не по неволе! Спасибо!

В его глазах горела не просто благодарность, а гордость свободного человека.

Генерал обернулся к дверям.

— Игнатий! Выходи с семьёй!

Игнатий вышел, ведя за руку смущённую Матрёну с маленьким Илюшкой на руках. Глеб, чуть прихрамывая, встал позади них, как скала.

— Игнатий, — голос барина дрогнул. — Ты не управляющий. Ты — правая рука моя и щит дома. Ты не раб. Ты — друг. И по гроб жизни. За верность, что крепче стали, и за подвиг у того окна...

Он махнул рукой, не в силах говорить о том. Анна Васильевна развернула пергамент.

— Жалую тебе, Игнатию, вольную. И не просто вольную.

Вот завещание моё, у нотариуса заверённое. Отписываю тебе в вечное и потомственное владение избу твою, конюшню, двадцать десятин лучшей пахотной земли и луг за рекой. И определяю ежегодное жалование, как приказчику вольному.

Толпа ахнула. Это было неслыханно. Игнатий стоял, белый как смерть. Он смотрел на пергамент, на барина, на жену, на сына. Потом медленно, тяжело опустился на одно колено, но не в поклоне, а будто подкошенный. Он не целовал край кафтана. Он схватил руку Ильи Николаевича и прижал её ко лбу, к губам. Голос его сорвался в шёпот, полный слёз:

— Барин... Илья Николаевич... Отец... Я... мы... родней будем. До скончания веков. Сына моего... твоим внуком назову. Внуком по духу.

— Уже назвал, — тихо сказала Анна Васильевна, кладя руку на плечо Матрёны. — Илюшей. И он наш крестник. Теперь мы семья.

Потом Илья Николаевич повернулся к Глебу.

— А тебе, Глеб Кузьмич... — Барин впервые публично назвал его по отчеству, и это прозвучало как дворянский титул. — Тебе, чья смекалка врага раскрыла, чья храбрость в самой сече всех превыше была и кто ценой своей крови дом

спас... тебе — не просто вольная.

Он сделал паузу, давая словам достичь каждого.

— Дарю тебе, в вечное и потомственное владение, мельницу на речке Верейке, со всеми землями, угодьями, строениями и инвентарём. Будь ты отныне не крепостной, а вольный мельник, хозяин полноправный. И да пребудет с тобой моё благословение.

Наступила тишина, которую нарушил только сдавленный вздох Игнатия. Глеб стоял, не двигаясь. Потом он тяжело опустился на одно колено, клюка с грохотом упала на ступеньку.

— Ваше превосходительство... — голос его, всегда такой твёрдый, дрогнул и сел. — Милость... сия... превыше заслуг моих. Я... слуга ваш был и вольным-то останусь. Мельницу... приму. Но коли что... кликните. Глеб, хоть и хромой, придёт.

— Встань, хозяин, — сказал Илья Николаевич, и в его глазах блеснула влага. — Не на колени, а на ноги. На свои. Игнатий, — обратился он к управляющему, — радуйся за брата. Ты в усадьбе — моя правая рука. Без тебя — никуда, а Глебу — дарённое хозяйство поможешь наладить.

И под радостный гул, под звон чарок, «Отрадное» праздновало. Праздновало милость, праздновало саму жизнь, которая, пройдя через горнило ужаса, возродилась с новой, прочной силой. А Глеб, уже не слуга, а вольный мельник, глядел на клюку и на новую, незнакомую свою судьбу. В его суровых глазах теплилась надежда.

— Знаешь, — сказал он Игнатию, когда они остались вдвоём, — я думал, что жизнь кончилась там, в саду, когда ногу раздробило. А она, оказывается, только начинается.

— Вот тебе и философия, — усмехнулся Игнатий.

— Какая философия? Правда. Самая простая. Пока человек жив, у него есть выбор. Выбрать — жить дальше или умереть. Я выбрал.

Глава 10.

Вести с войны

Торжество было в разгаре, когда на двор влетел верховой из города с почтой. Среди казённых пакетов лежало письмо, запечатанное сургучом с воинской печатью. Илья Николаевич, увидев почерк сына, замер. Он распечатал конверт, пробежал глазами первые строки и поднял руку:

— Вольным — идти готовиться к новому житью. Остальным — по домам. Семья — в гостиную.

Когда в уютной, прогретой изразцовой печью гостиной собрались Анна Васильевна, Людмила Юрьевна с маленьким Сашенькой на руках и Игнатий (как почти член семьи), Илья Николаевич начал читать. Голос его, сначала официальный, скоро смягчился, наполнился теплом и гордостью.

«Любезнейший родитель, дражайшая матушка, обожаемая супруга моя Людмилушка, любимый сынок Сашенька!

Шлю вам низкий поклон и сыновнее, братское и супружеское почтение. Вести ваши дошли до меня лишь в ноябре и повергли в ужас и гнев. Читал о злодейском нападении на

«Отрадное» со слезами на глазах и сжатым кулаком. Слава Всевышнему, что отбились! Храбрая матушка, стрелявшая из окна — героиня! Игнатий и Глеб — богатыри настоящие. Целую в мыслях любимого Сашеньку, моего наследника. Берегите его, молю.

А теперь о себе. Служба наша трудна, но славна. Любезнейший родитель, Илья Николаевич, и дражайшая матушка, Анна Васильевна!

Припадаю к стопам вашим и испрашиваю родительского благословения. Сие письмо препровождаю с нарочным, дабы скорее достигло оно ваших рук и утолило, сколь возможно, томительное ожидание вестей от недостойного сына.

Прежде всего, возблагодарите со мною Всевышнего, сохранившего меня среди военных действий. По милости Его и по повелению начальства, удостоился я участия в кампании по присоединении Крымских земель начала весны нынешнего года, коей главным предметом было усмирение восставших, сим гнездом вражеским на наших южных рубежах. Как сказано в реляции, «за оказанную личную храбрость и расторопность в командовании вверенною частью», удостоен я был милостивого внимания светлейшего князя Потёмкина и Государыни Императрицы. Всемилостивейше пожалован я орденом Святого великомученика и Победоносца Георгия

четвёртого класса и произведён в капитаны.

Не могу изъяснить вам, родители мои, тех чувств, кои обуревали душу мою, когда возлагали на меня сей почётный знак воинской доблести. Мысленно переносился я в «Отрадное», к вашему кабинету, отец, где висят ваши ипаги, к тихому рукоделию матушки, к Людмилушке, и к маленькому Александру, за чьё мирное будущее, как и за будущее всей нашей Отчизны, проливали мы кровь. Гордость моя смешана была с глубочайшим смирением и горячею благодарностью к вам, воспитавшим во мне дух, не гнувшийся перед опасностью.

Весть же о вашей собственной победе над злодеем Гуреем, полученная мною уже здесь, в Херсоне, где мы ныне моя часть, наполнила сердце моё такой радости и гордости за вас, что и выразить невозможно. Вы, в летах своих и на покой, явили такую же твёрдость, как и мы, воины. Честь и хвала вам! Сей ваш подвиг придаёт мне более сил, нежели все награды.

Служба наша продолжается здесь. Место сие, хотя и пустынное, но дух в войсках отличный, и мы с надеждою взираем в будущее, уповая, что труды наши послужат в утверждении России на сих благодатных землях.

Умоляю вас, не оставьте меня вашими письмами. Вести из дому — лучшая награда для солдата. Целую руки ваши бесчисленно раз, и шлю благословение сыну Александру. Да хранит вас всех Господь.

Остаюсь навсегда ваш покорнейший, любящий и благодарный сын, и муж.

Капитан Иосиф Трубников.»

Людмила Юрьевна прижала платок к лицу, но слёз не было — лишь гордость и облегчение. Анна Васильевна вытирала глаза. Маленький Саша, не понимая, в чём дело, тянулся к матери.

— Капитан... Георгием наградили... — с благоговением произнёс Игнатий. — Дстойная кровь, ваше превосходительство.

— Да, — твёрдо сказал Илья Николаевич, глядя на портрет сына на стене. — Он там — свою честь и нашу защищает. А мы здесь — свою землю отстаивали. Всё — одно. Всё — Россия.

Он подошёл к невестке, положил руку на плечо.

— Не плачь, Людмилушка, а гордись. Твой муж — герой. И он вернётся. Обязательно вернётся.

— Я знаю, — ответила она, и голос её был твёрд. — Он вернётся. Потому что не может не вернуться.

Игнатий, стоявший в стороне, заметил:

— Капитану бы сейчас наши грядки с озимыми показать. Глядишь, и ему бы легче воевать было — знать, что дома порядок.

— Ты прав, Игнат, — усмехнулся генерал. — Порядок в тылу — половина победы на фронте. Это я ещё от Румянцева усвоил. Солдат воюет не только штыком, но и животом. А живот сыт, когда дома всё ладно.

— Вот и я о том же, — кивнул Игнатий. — А мы с Глебом теперь вольные. Значит, и порядок наш будет.

Глава 11. Скорбь

Лето 1783 года

Выдалось на редкость тихим и благостным. Казалось, сама природа, вспомнив прошлогоднюю грозу, решила одарить «Отрадное» миром и плодородием. Поля гудели от труда, на Верейке весело стучали колёса мельницы нового хозяина — Глеба. Но спокойствие это, и тихая благость оказались последней искрой перед долгой тьмой.

Ещё зимой Анна Васильевна, жена генерала, стала жаловаться на слабость и тянущие боли в груди. Сначала списывали на простуду, потом на женские немощи. Вызванный из Калуги доктор прописал микстуры и покой, но лучше не становилось. К весне она уже редко покидала диван в гостиной, укутанная в шаль, хотя глаза её, большие и ясные, по-прежнему светились умом и любовью ко всем. Она заставляла читать себе вслух письма от Иосифа, подолгу смотрела на резвящегося внука Сашеньку и тихо улыбалась.

Людмила Юрьевна, взявшая на себя заботы о свекрови, не проявляла суетливости. Она была спокойна, деловита и твёрда, как и во всём. Когда доктор в очередной раз развёл

руками, она сказала:

— Значит, будем лечить по-своему. Травами, молитвой, покоем. И верой.

И она лечила. Не суетливо, а с холодным, сосредоточенным упорством. Каждое утро она приносила Анне Васильевне отвары, каждую ночь сидела у её постели, читая псалмы. Генерал, глядя на неё, думал: «Крепкая. Выдержит. И нас выдержит».

Купальская ночь с 6 на 7 июля была тёплой и звёздной. В усадьбе, по обычаю, жгли маленький костерок на задворках, девушки плели венки. Анна Васильевна, почувствовав необычный прилив сил, попросила вывести её на балкон. Она долго смотрела на тёмный силуэт сада, на мерцающие вдали огоньки деревни, на серебряную ленту реки.

— Как хорошо... — прошептала она. — И как всё знакомо...

Ночью ей стало хуже. К утру, на сам праздник Ивана Купалы, когда солнце, по поверью, играет на небе, она тихо скончалась, не приходя в сознание. Рука её лежала в руке мужа.

Хоронили Анну Васильевну через три дня на семейном

погосте у сельской церкви Рождества Богородицы. День был пасмурный, накрапывал мелкий, словно слёзы, дождь. Весь приход, все крестьяне и дворовые «Отрадного» пришли проводить свою барыню. Её помнили доброй, справедливой, никогда не унижавшей крепостных, умевшей и словом утешить, и лекарством помочь.

Гроб несли на руках от самой усадьбы до церкви. Впереди шёл Илья Николаевич. Он был страшен в своём горе: седой, прямой, с каменным лицом, в котором только глаза горели лихорадочным, невыносимым огнём. Он не плакал. Казалось, все слёзы выжгла из него внутренняя раскалённая пустота. Рядом, сдержанно и тихо, шла невестка Людмила, державшая за руку испуганного Сашеньку. Игнатий с Глебом, оба в чёрном, шли сразу за гробом.

Отпевание было долгим и пронзительным. Когда хор запел «Со святыми упокой», по церкви прокатился сдержанный всхлип — заплакали женщины. Илья Николаевич стоял недвижимо, устремив взгляд на жёлтый лик Спаса в иконостасе, будто ища там ответа или суда.

Когда гроб опускали в сырую, пахнущую глиной яму, и первые комья земли застучали по крышке, генерал вдруг резко обернулся и вышел из ограды кладбища. Он не мог этого видеть. Он пошёл, не разбирая дороги, через мокрый

луг к реке, к их любимой старой иве.

Опустившись на сырую корягу под раскидистыми ветвями, он закрыл лицо руками. И тут, сквозь онемение, хлынули воспоминания, яркие, как только что отпечатанные граюры.

Петербург. Бал в Измайловских казармах. Молодой, энергичный капитан Илья Трубников, только что отличившийся на манёврах, чувствует на себе чей-то пристальный взгляд. Он оборачивается и видит её. Девушку в простом, но изящном платье цвета утренней зари, с высоко убранными каштановыми волосами и невероятно живыми, умными серыми глазами. Это была Анна Шибинская, дочь небогатого, но учёного коллежского асессора, приглашённая родственницей-полковницей.

— Капитан, вам не кажется, что менуэт нынче танцуют с излишней воинственностью? — услышал он рядом мелодичный голос. Она улыбалась, в уголке губ играла едва уловимая насмешка.

Он, смутившись, пробормотал что-то о дисциплине даже в танцах. Они заговорили. Говорили о книгах — она читала Вольтера в переводе, о музыке, о Петербурге. Он, привыкший к казарменным шуткам и карточным разговорам,

был очарован. Она не кокетничала, она размышляла. И в её взгляде была та самая «тихая гавань», о которой мечтает каждый солдат.

Он приезжал в их скромный домик на Васильевском острове. Сидел в гостиной, пил чай из тонкого фарфора с позолотой (единственная семейная ценность) и спорил с её отцом о политике, ловя её одобрительные или насмешливые взгляды. Как он делал предложение? Неловко, по-военному прямо, стоя посреди той же гостиной:

— Анна Васильевна, моя жизнь — служба. Она нелегка. Но я осмелюсь просить вас разделить её со мной. Обещаю, честью, быть вашей защитой и опорой.

Она покраснела, опустила глаза, а потом подняла их — ясные и твёрдые:

— Я верю вашей чести, капитан. И согласна.

Свадьба была скромной. Первые годы — гарнизонная жизнь, переезды. Она не роптала на тесноту и неустроенность. В походном сундуке у неё всегда лежали томик стихов, вышивка и аптечка. Она лечила его солдат от цинги и лихорадки. Помнил, как в маленькой комнатке в Ревеле, при свете сальной свечи, она учила его французскому, смеясь над

его ужасным произношением. Помнил её руки, перевязывающие его первую, несерьёзную рану, полученную на дуэли. Помнил, как она, уже в «Отрадном», встретила его с новорожденной Марией на руках, и в её лице был такой покой и счастье, что все тяготы службы казались мелочью.

Они вместе строили эту усадьбу не как имение, а как дом. Она разбила сад, где теперь цвели её любимые пионы и сирень. Она уговорила его построить не просто скотный двор, а просторные, светлые хлева. «От доброго отношения и скотина лучше доится, Илья», — говорила она. Она была его совестью и мягкой силой. Когда он гневался на крестьян за провинность, она находила слова, чтобы смягчить его приговор. Именно она научила Иосифа не только французскому и музыке, но и простой грамоте.

И та ночь... Ночь штурма. Он видел, как она, бледная как смерть, взяла его штуцер, как твёрдо вставила шомпол, как прицелилась... И выстрелила, спасая их всех. Её хрупкость и её сталь — в этом была вся она.

Дождь усиливался, промочив его сюртук насквозь, но он не чувствовал холода. Он чувствовал лишь страшную, физическую боль утраты. Рядом с ним опустился на корточки Игнатий, накинувший на него свой армяк.

— Ваше превосходительство... домой надо. Простудитесь.

— Дома её нет, Игнатий, — хрипло, словно впервые заговорив после долгого молчания, произнёс Илья Николаевич.
— Дома теперь пусто.

— Не пусто, — тихо, но твёрдо сказал управляющий. — Ваш сын воюет. Внук подрастает. Село на вас смотрит. И она... она в саду своём, в книгах ваших, в каждом камне этого дома. Она не ушла. Она осталась.

Илья Николаевич медленно поднял голову. Сквозь пелену дождя и слёз он увидел огонёк в окне господского дома — там горела свеча, которую поставила Людмила в комнате матери. Этот маленький, тёплый огонёк в промозглом вечере вдруг стал нитью, связующей с тем, что было, и с тем, что должно быть.

Он тяжело поднялся, опираясь на руку Игнатия.

— Пойдём, — просто сказал он. И они пошли обратно к дому, к долгу, к жизни, которая, несмотря ни на что, должна была продолжаться. Но часть его сердца навсегда осталась под сырой землёй у церкви Рождества Богородицы, рядом с каштановыми волосами и умными серыми глазами.

Дома его встретила Людмила Юрьевна. Она подала ему горячего чая, укутала пледом, не задавая лишних вопросов. Потом села напротив и сказала:

— Илья Николаевич. Я знаю, что вам тяжело. Но теперь — я здесь. Я буду вести дом. Я справлюсь.

Он посмотрел на неё долгим, тяжёлым взглядом.

— Справишься, — сказал он. — Я знаю. Ты — из того же теста, что и она. Может, даже покрепче.

— Не покрепче, — тихо ответила она. — Просто — дру-
гая. У каждого своя сила.

#

Книга вторая

Воля

Глава 1. Жизнь продолжается

Осень 1783 года

«Отрадное» встречало осень тихо. Листья с яблонь облетели, сад стоял прозрачный, и в этой прозрачности было что-то торжественное.

Глеб Кузьмич, вольный мельник, уже не хромал так сильно, как прежде. Клюку сменил на толстую палку с медным набалдашником — подарок брата. По утрам уезжал на мельницу за пять вёрст, в Заполье, и стук её колёс слышен был далеко по округе. Крестьяне везли к нему зерно — знали: Глеб не обманет, меры не убавит, а если у кого беда, так и в долг смелет, до нового урожая. Молча смелет. И это внушало больше доверия, чем любые клятвы.

— Глеб Кузьмич, — спросил его однажды мужик из дальней деревни, привезший зерно на помол, — как вы меру держите? Вона, у других мельников иной раз и обсчитают, и обвесят. А у вас — всегда чисто.

— А я, — ответил Глеб, поправляя жернова, — не меру держу. Я совесть держу. Она у меня одна, как и мера. Обманешь раз — совесть треснет. А треснувшую совесть, как жернов, не склеишь.

— И как же вы её, совесть-то, держите? — не унимался мужик.

— А никак. Просто знаю, что за обманом — пустота. А мне пустота не нужна. Мне — дело.

Мужик покрутил головой, но спорить не стал.

Игнат Кузьмич хозяйствовал в усадьбе. С вольной, с землёй, с жалованьем он словно бы даже помолодел. Не телом — душой. Страх, что годами сидел под ложечкой, ушёл совсем.

Утро началось с разговора.

Игнат вышел на крыльцо, потянулся. Холодок под ложечкой, что был постоянным спутником, — не проснулся.

— Хорошо, — сказал он сам себе. — Даже боязно. Видать, нынче что-то случится.

Из избы донеслось шуршание. Матрёна перебирала сундук.

— Чего там гремишь? — крикнул Игнат.

— Добро перебираю, — донеслось изнутри. — Таперича, поди, и сундук другой нужен.

Игнат зашёл в избу, присел на лавку:

— Мы теперича вольные. Двадцать десятин, луг, изба своя. Вот скажи мне, Матрёна: кто вдруг у нас вором ока-

жется, ежели что спрём?

Матрёна подняла голову:

— Ты это к чему?

— А к тому, — Игнат почесал в затылке, — что коли мы нынче сами себе хозяева, то красть у других — грех. А у себя — себя же и обокрасть. Куда совесть девать? В сундук? Так он уже полный.

— Дурак ты, Игнат, — вздохнула Матрёна. — Совесть не в сундуке хранят.

— А где?

— В сердце.

— А сердце где? — Игнат приложил руку к груди. — Тут? Ненадёжно. Вывалиться может.

Матрёна посмотрела на него долгим взглядом человека, который давно смирился.

— Ладно, иди лучше во дворе погляди. А то надумаешь — и коровы некормленные останутся.

— Это ты зря, — обиделся Игнат. — Коровы мои думы уважают. Вон Пеструха вчера слушала — и даже мычать перестала.

— Она перестала, потому что я ей сена дала.

— Совпало? — Игнат поднял палец. — Не думаю.

Он вышел во двор и сразу увидел: у хлева толпятся бабы, а над ними, как коршун над цыплятами, кружит Фёкла — скотница, баба ядрёная, с голосом, способным покойника разбудить.

— Да што ж это деется! — голосила Фёкла. — Корова-то, Пеструха, ровно бешеная! Ни подоить, ни подойти!

Игнат подошёл не спеша, заложив руки за спину:

— И долго вы тут орёте? Фёкла, ты у нас, я гляжу, на войну собралась. Пеструха, небось, уже до капитана дослужилась, раз с ей так трудно совладать. Может, ей чин дать? Пущай будет майором. Али сразу полковника влепи, чтоб не мелочиться.

Бабы прыснули. Фёкла покраснела.

— Ты, Игнат, всё шутишь! А корова-то бешеная!

— Фёкла, милая, — ласково сказал Игнат, — у тебя тоже глаза красные. И што? Ты бешеная? Али просто не выпалась?

Он шагнул в хлев.

— Пеструха, мать, — заговорил он тихо. — Ты чаво? Али корм не тот? Али Фёкла тебе песню не ту спела? У ей, знаешь, голосина — любая корова взбесится. Ты не брыкайся, ты скажи. Хотя, ежели ты скажешь, я удивлюсь.

Корова мотнула головой, но как-то уже не воинственно, а скорее с недоумением. Игнат протянул руку, почесал её за ухом. Пеструха вздохнула — тяжело, по-человечьи, — и ткнулась мордой ему в ладонь.

— То-то же, — сказал Игнат, обернувшись к остолбеневшей дворне. — А вы — бешеная, бешеная. Не бешеная она, а душу имеет. Фёкла, учись. Ты ж у нас говорливая. У тебя и люди не всегда выдерживают, а тут животное беззащитная.

Фёкла буркнула что-то про «все вы, мужики, такие...», но в хлев полезла уже без прежней ярости.

У амбара мужики разгружали подводу с овсом. Мешки летели в телегу тяжело.

— А ну, потише! — Игнат подошёл, взялся за край мешка.
— Мешок порвёте — зерно просыплется. Мышам на корм. Хотите, чтоб мыши в Отрадном богаче вас жили? Чтоб они себе норы с колоннами строили?

Конюх Степан буркнул:

— Мыши, Игнат Кузьмич, они всегда сыты.

— Степан, а давай-ка прикинем. Мыши поели зерно — убыток?

— Ну, убыток.

— А ежели зерна нет зимой, продать неча — убыток?

— Тоже убыток.

— А весной сеять нечем?

Мужики притихли.

— Третий, — буркнул кто-то.

— Во-от, арихметика — Игнат задрал палец. — А мешки, заметь, не подписаны. Неизвестно — барские они, али уже мои. Но зерно — оно труда стоит. Чьё бы ни было. Значит, мышиный вопрос — это не про мышей, а про разумление. Ежели я у барина украду — я вор. Ежели у себя — я дурак. А ежели мыши у всех украдут — они просто мыши. Где справедливость?

Мужики переглянулись. Степан почесал затылок:

— Игнат Кузьмич, а можно мы просто мешки аккуратно покидаем?

— Можно, — великодушно разрешил Игнат. — Но с ласково.

К обеду прискакал на лошади запыхавшийся Митяй.

— Игнат Кузьмич! Мельница стала! У дядьки Глеба!

Игнат вздохнул:

— Запрягай.

Пока ехали до Заполья, Митяй молчал и только смотрел на Игната с обожанием. Игнат молчал и смотрел на лес. Потом не выдержал:

— Слышь, Митяй. А ты кем быть хочешь?

Митяй вздрогнул:

— Ну... как все... мужиком.

— Это не ответ. Мужик мужику рознь. Один всю жизнь навоз возит и помирает, ничего не поняв. А другой — глядит, думает, запоминает.

Митяй молчал. Лошадь бежала ровно.

— Ты, Митяй, сейчас не человек, — продолжал Игнат. — Ты — грибница. Под землёй сидишь, корешки пускаешь. А кем вырастешь — от тебя зависит. Можешь боровиком стать, а можешь поганкой.

— А ежели поганкой?

— Тогда, когда пора сбора грибов наступит, ты получишь лаптем по морде. И братья твои из грибницы получают по мордам тоже. Поверь уж.

Митяй потёр затылок:

— А как узнать?

— А никак. — Игнат достал трубку, закурил. — Потому и думать надо. Грибница, она хочет, чтоб кормили, чтоб не топтали. А ты сам решай, в какую сторону тянуться. К свету али в навоз.

Митяй задумался. Игнат больше не сказал ни слова до самой мельницы.

У мельницы было невесело. Колесо стояло, вода сочилась мимо, крестьяне с подводами топтались в стороне, а Глеб сидел на корточках и молча глядел на ось. Молчал он так выразительно, что даже вода течь потише стала.

— Здорово, брат, — сказал Игнат, подходя. — Ось?

Глеб кивнул.

— Починим.

Глеб взялся за лом. Игнат — за топор. Работали молча. Митяй крутился рядом, подавал.

Через час мельница закрипела — и пошла.

Игнат вытер пот, отошёл, сел на траву. Глеб подошёл, сел рядом.

Долго молчали.

— Спасибо, — сказал Глеб.

Игнат хмыкнул, глядя на воду:

— За что?

— Что приехал.

— Брат всё ж.

Глеб помолчал, потом тихо сказал:

— Я иногда думаю: зачем я тогда из огня вылез? Дарья там осталась, а я здесь... мельницу чиню.

Игнат не ответил. Просто сидел рядом.

Потом встал, хлопнул брата по плечу:

— Поехали. Матрёна на стол накрыла.

Вечером, когда солнце уже садилось, Игнат сидел на за-
валинке. Рядом возился маленький Илюша — пытался пой-
мать светлячка.

— Ты его не лови, сын, — сказал Игнат. — Он своё дело
знает: светит. А ты своё дело знай: расти.

Игнат поднялся, подхватил сына на руки. Пошёл к дому,
где горел тёплый свет.

По дороге обернулся, глянул на темнеющий лес, на мель-
ницу, которая всё стучала где-то там, за пять вёрст, и сказал
сам себе:

— Хорошо, Кузьмич. Хорошо.

Глава 2.

Возвращение героя

Август в «Отрадном» был не временем года, а состоянием души. Это был густой, медовый, самодовлеющий мир, где каждая травинка, налитая соком, трещала от полноты бытия. Воздух, плотный и звенящий, был соткан из запахов: горьковатой полыни, нагретой смолы с крыши, спелой земляники из-под кустов и сладкого дыма — где-то жгли сухую ботву. Небо, выцветшее от зноя до бледной, выбеленной синевы, казалось куполом гигантской печи, в которой медленно томилось и превращалось в золото всё живое. Ржаные поля вокруг усадьбы стояли недвижно, тяжёлые колосья, отливая медью и бронзой, клонились к земле в немом ожидании серпа. Река Протва обмелела, обнажив тёплые, жёлтые отмели, и текла лениво, сверкая на солнце, как расплавленное стекло. В самой гуще этого знойного великолепия усадьба, отстроенная, побелённая, с новыми, ярко-зелёными ставнями, дремала, как упитанный, довольный кот. Но в этой дремоте чувствовалась притаившаяся, сладкая тревога — трепетное ожидание праздника.

Весть пришла за неделю с оказией — через купца, вёзшего из Херсона железо для новых мельничных жерновов Глеба. Среди тюков купец вручил Игнатию небольшой, залитый

сургучом пакет и круглую, тщательно упакованную коробочку. В письме, написанном на клочке походной бумаги, стояло:

«Любезнейший родитель и дражайшая Людмилушка!

Шлю вам сию весточку с верным человеком. Отпуск выхлопотал — два месяца. Буду у родного порога числа 20-го августа. Сердце моё разрывается меж долгом и домом, но теперь дом зовёт громче.

Весть о матушке... получил. Скорбь — как тишина после канонады. Глухая и всепоглощающая. Везу её с собой, чтобы оставить у нашего порога, рядом с её пионами.

Жажду обнять отца, жажду увидеть сына Александра. Пишите, что он уже ходит. Страшусь и ликую одновременно.

Ваш Иосиф.

P.S. Людмилушке — коробочка. Херсонский сувенир. Пусть наш мальчик играет, когда подрастёт.»

В коробочке, под слоем ваты, лежала игрушечная турецкая сабля из слоновой кости — тонкая, изящная, смешной и

трогательный трофей для будущего воина. Людмила Юрьевна, взяв её в руки, прижала её к щеке, ощущая прохладу кости, и впервые за многие месяцы её лицо озарила улыбка — робкая, но настоящая.

Новость облетела усадьбу быстрее, чем ветер по полю. И на этот раз суэта имела особый, сокровенный оттенок. Готовились не для важных гостей, а для своего, для кровного. Игнатий, ставший истинным столпом усадьбы, руководил приготовлениями с отеческой, но едкой основательностью. Он вышел на крыльцо, где уже столпились дворовые, и, уперев руки в бока, окинул их насмешливым, любящим взглядом.

— Ну-с, мироеды и пни сонливые! — начал он, и углы его губ поползли вверх. — Отлежали бока? Пора мозоли набивать новые. Сам барин-капитан, кровь от крови нашей, из похода возвращается. Чтоб всё сияло, как совесть у младенца!

Он раздавал поручения, каждое — с приправой из доброй шутки:

— Ты, Митяй, дорогу от большака мети да песком присыпь. Да не тем песком, что в твоих карманах от лени зажёлся, а речным, чистым. Чтоб капитан, въезжая, не ухабы считал, а соловьёв слушал.

Митяй смущённо сказал:

— Будет гладко, Игнатий Кузьмич, будто скатерть.

— Скатертью, говоришь? Смотри, брат, чтоб не скатертью-самобранкой, а то проедет капитан, а у нас на дороге пироги горячие появятся — совсем смута будет!

— А ты, Феклуша, цветы в горшки в гостиной пересади. Да не абы как, а с приглядом. Чтоб пахло, как в раю, а не как в твоём хлеву в субботу, помывки ради.

Девки захихикали, а Феклуша, покраснев, буркнула:

— Ужо насажу, душистее матушкиных духов!

Тут же, как из-под земли, вырос Глеб со своей молодой женой Алёной. Мельник был степенен, а в его молчаливой силе появилась новая, хозяйская основательность. Алёна, румяная и тихая, держала в руках узел.

— Мука, Игнатий Кузьмич, — сказал Глеб просто. — Для калачей. Алёна сдобных пряников намешала. Медовых. Малому, поди, по нраву будут.

Игнатий одобрительно кивнул, подмигнув Алёне:

— Пряники, говоришь? Это дело. Только смотри, Алёнушка, не пересласти. А то капитан, отведав, подумает, что не в родное «Отрадное» приехал, а в турецкий гарем, где одни сласти да улещенья.

Алёна, смутившись, прошептала:

— Я меру знаю.

Глеб же только хмыкнул, но в уголках его глаз собрались лучики смешинок.

В усадьбе царило светлое, домашнее возбуждение. Это была не тревога перед смотром, а радостная суeta перед праздником семьи. Людмила Юрьевна с утра до вечера была занята сыном. Александр, крепкий, курчавый бутуз, уже уверенно топавший по половицам, чувствовал необычность момента. Он то и дело подбегал к окну, тыкал пухлым пальцем в дорогу и лепетал:

— Па-па? Па-па едет?

— Едет, солнышко, едет, — шептала мать, поправляя на нём чистую рубашонку с вышитым воротничком. — Скоро

увидишь большого, сильного папу. Он герой.

Она не суежилась. Её волнение было тихим, глубоким, как вода в лесном омуте. Она перебирала свои платья, выбирая самое скромное и изящное — синее, бархатное, которое когда-то любил Иосиф. Она примерила его перед зеркалом, поймав на себе взгляд — уже не девушки, а женщины, матери, хранительницы очага, пережившей бурю. В её движениях была не нервная торопливость, а сосредоточенная нежность, будто она готовила не комнаты, а саму душу дома к долгожданному возвращению.

К вечеру 19 августа «Отрадное» замерло в торжественной, чистой красоте. В доме пахло свежим хлебом, воском и сушёными яблоками. На столе в столовой, под белой кисеёй, ждали своего часа пироги. Маленькая слоновая сабля лежала на комоде в детской, как обещание будущих сказок.

Игнатий, завершив дела, вышел на крыльцо. Сумерки, лиловые и бархатные, мягко ложились на поля. Он закурил трубку.

— Завтра, — сказал он в наступающую тишину, и голос его звучал непривычно мягко. — Завтра он вернётся. Увидит сына. Обнимет отца. И всё встанет на свои места. И даже тишина матушкина... она не помеха радости. Она — её

ОСНОВА.

И в этом предвечернем мгновении, в звенящей от предвкушения, напоённой запахами лета и дома тишине, и заключалась вся пастораль «Отрадного». Это была не картина безмятежного довольства, а живой портрет семьи, затаившей дыхание в ожидании самого простого и самого великого чуда — возвращения своего воина, своего отца, своего сына.

Глава 3. Встреча

День был соткан из золота и тишины. Даже кузнечики в придорожной траве, казалось, смолкли в почтительном ожидании. Внезапно эту хрустальную тишину разорвал ясный, как выстрел, звук почтового рожка — два коротких, ликующих гудка, означавших на всех дорогах империи: «Свой! Важный! Пропусти!»

В усадьбе это прозвучало как трубный глас. Игнатий, стоявший на крыльце с видом полководца перед битвой, вздрогнул и преобразился.

— Ну, милые мои черепахи да улитки! — прогремел он, и в его голосе зазвенела победная, едкая радость. — Слышите? Не карета смерти едет, а карета жизни! Анфиса, пирог в печи не сожги, а то вместо хлеба-соли герою угля поднесёшь! Лукьян, ворота отворяй, да не так, будто на сеновал идёшь, а с размахом, с духом! Чтоб капитан подумал — в райские врата въезжает!

Дворовые, уже выстроенные в подобие почётного караула, зашевелились, как листья под ветром. Игнатий ловил их взгляды, бросая шутки-приказы:

— Ты, Феклуша, платок поправь! А то наклонишься кланяться, а у тебя из-под косынки, прости Господи, куриное перо торчит — капитан решит, у нас в усадьбе не люди, а птичий двор!

— А вы, братцы, улыбайтесь! — обернулся он к мужикам. — Рожи не делайте, будто на барщину идёте! Вы героя встречаете, а не недоимку собираете!

Илья Николаевич вышел на крыльцо. Он не опирался на трость. Он стоял прямо — белоснежные, тщательно зачёсанные волосы и глубокие морщины у глаз, сложенные за спиной руки слегка дрожали, выдавая его волнение. Рядом, сделав шаг вперёд, замерла Людмила Юрьевна. Вся её хрупкая фигура была струной, натянутой до предела. Двухлетний Александр, одетый в льняную вышиванку, похожую на крошечный офицерский мундир, крепко держался за складки её платья и смотрел на дорогу огромными, бездонными, серыми глазами.

И вот из-за поворота, подняв облако янтарной пыли, влетела почтовая кибитка. Кучер, лихой ямщик в красной рубахе, лихо осадил взмысленных лошадей прямо перед крыльцом. Пыль медленно осела, открывая фигуру в дверце.

Капитан Иосиф Трубников спрыгнул на землю одним

упругим, привычным к седлу движением. Он был в простом сюртуке дорожного покроя, но осанка, широкие плечи и взгляд — острый, мгновенно оценивающий пространство, — выдавали в нём воина. Лицо, обветренное и похудевшее, но когда его глаза нашли отца, всё это каменное напряжение растаяло, обнажив такую беззащитную, детскую радость, что у многих в горле встал ком.

Он не пошёл, он бросился к крыльцу. Не доходя двух шагов, вдруг споткнулся, будто подкошенный силой чувств, и рухнул на колени прямо на выметенные до блеска плиты, не сводя глаз с отца.

— Батюшка... — вырвалось у него хрипло, и это было не слово, а выдох всей тоски, всех вёрст, всей солдатской усталости.

Илья Николаевич не выдержал. Он стремительно сбежал по ступеням, его трость с грохотом откатилась в сторону. Он упал на колени перед сыном и схватил его за лицо своими старческими, узловатыми руками.

— Иоська... Родной мой... Жив... Цел... — бормотал он, и слёзы текли по его морщинам, как дождь по высохшей земле. Они обнялись, два воина, старый и молодой, и их плечи тряслись от беззвучных рыданий. Это была встреча не отца и

сына, а двух половин одной души, наконец соединившихся.

Игнатий, отвернувшись, рывкнул сквозь ком в горле:

— Ну что, галёрка, спектакль понравился? А ну-ка, Дарья, платок хозяину подай, а то слёзы-то у него солёные, мундир, чай, испортят! Не салфетки у нас, а исторические реликвии!

Но Иосиф уже поднимался, помогая отцу встать. И его взгляд, мокрый от слёз, нашёл её. Людмилу.

Она стояла, прижав руку ко рту, и вся дрожала мелкой дрожью осинового листа. Он медленно подошёл, и каждый его шаг отдавался в ней глухим ударом сердца.

— Лёля... — прошептал он её домашнее, забытое всеми имя.

Она не бросилась ему на шею. Она подняла на него глаза, и в этом взгляде был весь её трёхлетний ад ожидания, вся молитва, вся опустошённая надежда. Потом её рука, холодная как лёд, потянулась и коснулась его щеки, будто проверяя: не мираж ли? Не сон?

— Ты... настоящий? — выдохнула она.

В ответ он прижал её ладонь к своей щеке, закрыл глаза и глубоко, с дрожью, вдохнул.

— Настоящий. Прости...

И тогда в ней что-то надломилось. Она бесшумно, как подкошенная, осела к его ногам, обхватив его сапоги, прижимаясь лбом к пыльной коже. Её плечи сотрясали беззвучные, страшные в своей тишине рыдания. Он опустился рядом, обнял её, прижал к себе, целуя её волосы, шепча бессвязные слова утешения, и сам плакал, не стыдясь слёз.

А маленький Александр, оставшись один, смотрел на эту странную картину. Он подошёл ближе, нахмутив бровки. Потом тронул рукой шитый золотом воротник отцовского сюртука.

Иосиф оторвался от жены, увидел сына. В его глазах, ещё полных слёз, вспыхнул новый, ослепительный свет. Он осторожно отпустил Людмилу и, не вставая с колен, повернулся к мальчику.

— Сашенька? — голос его сорвался на шёпот.

Мальчик кивнул, серьёзно изучая незнакомца. Потом спросил:

— Ты папа?

Иосиф ахнул, будто получил удар в грудь. Он засмеялся сквозь слёзы, счастливый, разбитый смех.

— Да, сынок. Я тот самый. Только сабля... она дома осталась.

Александр, подумав, сделал шаг вперёд и просто положил свои маленькие ручки ему на шею, доверчиво прильнув. Это было полное, безоговорочное признание. Иосиф, сдавленно вскрикнув, подхватил сына, поднял высоко к небу, а потом прижал к сердцу, зарываясь лицом в его мягкую, пахнущую молоком и травой шею. Людмила приникла к ним обоим, и они стояли, сплавленные воедино счастьем, — его крепкие руки обнимали его вселенную.

А вокруг бушевала радость. Игнатий, вытирая лицо рукавом, уже командовал с прежней колкостью:

— Ну, праздник слезоточивый! Хватит воду лить, бабы, лужи намоете! Марфа, самовар неси, да такой, чтобы свистел, как ядро пролетающее! А вы, витязи, — кивнул он мужикам, — чемодан-то хозяина в дом тащите, а не как святыню на руках несёте! Там, гляди, не Георгий крест, а грязное

бельё!

Все смеялись сквозь слёзы, суеились, перебивали друг друга. Даже старый пёс Трезор, забыв о годах, носился во-круг, виляя хвостом и заливисто лая.

Иосиф, не выпуская из одной руки сына, другой обняв жену, пошёл с отцом в дом. Он был дома. Война кончилась. Начиналась жизнь — шумная, простая, бесконечно драгоценная. А Игнатий, провожая их взглядом, пробормотал себе под нос, но так, что слышали все:

— Ну вот и ладно. Теперь в доме мужской голос будет. А то я тут один, как рак-отшельник в пустой раковине, над всеми командуй. Теперь, слава Богу, есть на кого и власть переложить... да и поругать кого, кроме себя.

И его улыбка была самой счастливой на всём дворе.

Глава 4. Баня

Дорожную пыль смывать — традиция. Баня, что на задах у ручья, дышала густым, настоящим на травах духом: мята, чабрец и берёзовый веник. Топили её с рассвета.

Вошли трое: Илья Николаевич, Иосиф и Игнатий. Банщик Потап, бывалый солдат, молча подал каждому по шайке. Воздух был густой, обволакивающий, с лёгкой горчинкой полыни.

— Пар-то, Потапыч, нынче лечебный, — крикнул Илья Николаевич, с наслаждением опускаясь на полок. — Не то что в ваших походных баньках, Иоська. Тут тебе и раны заживут, и тоска выйдет.

Иосиф, смывая с тела память о дороге, лишь мотнул головой. Жар бил в упор, заставляя сердце стучать ровно и сильно.

Работал Потап молча и методично. Сначала обдал камни настоем зверобоя — пар ударил ароматный, золотистый. Потом взял в руки веник, тяжёлый, как доброе ружьё.

— Ну-ка, капитан, повернись, — хрипло сказал он Иоси-

фу. — Шрамы эти надо паром да листом прочуять, чтобы не ныли.

Веник засвистел, хлёстко и метко опускаясь на плечи, спину. Иосиф вздрогнул, потом расслабился, отдаваясь знакомой, почти забытой ласке жара и дуба.

— Так-то, — бормотал Потап. — Сполоснули тебя, Иосиф Ильич, чужие ветра. А теперь наша банька своё возмёт. Чтоб пахло домом, а не порохом.

Игнатий, сидя на нижнем полке, ворчал со своей обычной колкой нежностью:

— Ты его, Потап, не жалея. Отходи, как следует. А то сядет за стол, а у него в складках турецкий песок останется — не комильфо. Да и гляди, вон на ребре шрам — его, поди, полынным веником прошелести, для обеззараживания.

— Сам знаю, — отрезал Потап, но к следующему ковшу воды уже добавил горсть сухой, горькой полыни.

Пар стал ядрёным, кусачим, целебным. Дышать было трудно и блаженно. Разговоры смолкли, уступив место кряхтению, плеску воды, хрусту распаренных веников. В этой молчаливой работе было больше понимания, чем в долгих

речах.

Потом — ледяная купель в ручье. Резкий, обжигающий холод, после которого кожа горела, а в голове звенела кристальная ясность.

— Вот теперь — отрадновский, — выдохнул Илья Николаевич, растираясь грубым полотенцем. Лицо его стало розовым, глаза молодыми.

Одевались в предбаннике, где пахло чистым холстом и вяленой рыбой. Игнатий, застёгивая ворот рубахи, прислушался. Из дома, сквозь сомкнувшиеся сумерки, уже плыли тёплые волны смеха, звон посуды и густой, неумолимо манящий запах пирогов.

— Слышите? — сказал управляющий, и в его голосе зазвучала торжественность. — Генеральский стол нас ждёт. И, кажись, уже не терпится.

Они вышли. Трое чистых, пропаренных, с лёгкой усталостью в мышцах и миром на душе. Они шли на свет, на голоса, на праздник.

Глава 5. Пир

Три дня поварня походила на осаждённую крепость, где повар Михей был и грозным комендантом, и гениальным инженером. Его басок, хриплый от пара и команд, гремел под сводами:

— Фроська! Тесто для курника меси, как будто недруга душишь — до последнего вздоха! Чтоб поднялось, как купол Софийский, и дышало, как перина ангельская!

— Степка! Поросёнка на вертеле крути, а глазами на него не пялься, а то сгорит, как твоя совесть в прошлую субботу. Да с молитвой крути!

Забили молочного поросёнка, откормленного на сливках и яблоках. Его, начиненного гречкой с печёнкой, Михей са-молично поливал мёдом, ворча:

— Румяней, солнышко, румяней! Чтоб барин издали подумал — закат на блюде несут!

Но его сердце принадлежало рыбе. Когда Глеб приволок из запруды седого налима — аршина в полтора, — Михей снял перед рыбой картуз.

— Ах, ты, батюшка... Из тебя, красавец, три чуда сделаю. И первое — тельная, чтоб во рту таяла, как грешная мысль перед исповедью. Марья! Нож точи, да смотри — ни одной косточки! Чтоб барин не подавился, а то мы с тобой в Сибирь заготавливать снега поедем!

Стол в столовой под тяжёлой серебряной люстрой действительно гнулся. На нём, на тонком фарфоре с синей позолотой и в массивном фамильном серебре, стояло пиршество:

В центре — тот самый поросёнок, хрустально-золотистый, с яблоком в зубах.

Рядом — курник, высокий и пышный, похожий на соборный купол.

Дымилась голова налима в глиняном горшочке, утопавшая в сметане.

Дымились пироги: с капустой, с грибами, с визигой.

Студенился заливной телёнок, прозрачный, как зимний лёд.

А вокруг — целые россыпи: грибы маринованные, грузди

со сметаной, блины стопкой с икрой — щучьей и паюсной.

За окнами «Отрадного» стояла тёплая, звёздная августовская ночь. А в доме, где наконец-то собрались все свои, царил покой, полный сытого, доброго умиротворения.

Челядь в накрахмаленных передниках двигалась бесшумно, как тени. Девки в цветастых сарафанах разносили блюда на тяжёлых подносах, а лакей в ливрее ловко подливал напитки в хрустальные бокалы и гранёные стопки.

В графинах переливалось: тёмный, как ночь, вишнёвый мёд; золотистая рябиновка; прозрачная смородиновая наливка. А для мужчин стоял графин с перцовкой, домашней выгонки, жгучей, как сама правда, от которой слезились глаза и расправлялись плечи.

За столом царило оживление. Илья Николаевич сиял, как майское утро. Рядом — Иосиф и Людмила Юрьевна, чьи пальцы под скатертью иногда находили друг друга. Напротив — деловитый Игнатий и его брат Глеб, бородатый великан с руками, как корневища дуба. Меж стульев, словно юркий весенний ручеёк, носился Алексашка, размахивая полученной от отца тупой сабелькой в кожаных ножнах.

— Ну, Иоська, — начал генерал, отламывая хрустящее

уху поросёнка, — пока ты турок гонял, мы тут свои войны вели. Игнат, докладывай обстановку!

Игнатий, вытирая усы, вздохнул с деловой важностью:

— Положение, Илья Николаевич, было на грани катастрофы. Весной пруд прорвало — едва плотину отстояли, всем миром мешки таскали. Потом, прости Господи, мышиное нашествие. Боролись, как с янычарами.

Глеб, хитро прищурившись, добавил:

— А зимой-то развлечение вышло! Медведь-шатун к скотному двору подобрался. Бабы вопят, скотина ревёт. Мы с Игнатием, да с парой псов... Думаю, щас род Отраднинских медведобойцев начнётся!

— И чем кончилось? — заинтересовался Иосиф.

— А ничем, — отмахнулся Игнатий. — Пошумели, потопали. Зверь он не глупый — почуял, что тут не одни овцы, и ушёл. Только Глебов тулуп, который он на заборе висел, в качестве трофея пропал. Видно, мишке на подстилку приглянулся.

Все засмеялись. Вспомнили и мать, Анну Васильевну.

— Она бы сейчас радовалась, глядя на нас, — тихо сказал Илья Николаевич, и в его голосе дрогнула нота нежности. — За её светлую память.

Тихим «Аминь» ответили ему за столом.

И вот, когда настроение достигло той особой, тёплой ясности, Иосиф встал.

— Батюшка, — начал он, обращаясь к отцу. — Ты дал мне всё. А я привёз тебе вот это. — Он подал длинный футляр из сафьяна. В нём на бархате лежала зрительная труба в латунной оправе, с тончайшей гравировкой в виде листьев. — Английская, трофейная. Чтобы ты мог обозревать все свои владения, каждую берёзку, не выходя из кабинета. Видеть, как живёт и растёт твоё Отрадное.

Илья Николаевич взял трубу дрожащими руками, поднёс к глазу, навёл на пламя свечи в дальнем конце зала. На его лице расцвела улыбка чистой, почти детской радости.

— Боже мой... Я вижу... Я вижу трещинку в кирпиче у камина! Спасибо, сынок. Это дар не для генерала, а для хозяина. Лучшего не желаю.

Потом Иосиф повернулся к Игнатию. Его лицо стало серьёзным и благодарным.

— Игнатий. Друг и верный человек. Пока я был вдалеке, ты спас самое дорогое — мою семью. Во время тех холодов, когда Людмила и Сашенька едва не погибли в старом флигеле, это ты их спас. — Он протянул тяжёлый, изящный ларец из карельской берёзы. Внутри, на тёмном бархате, лежал великолепный письменный прибор: серебряная чернильница, песочница и пресс-папье, украшенные гравировкой в виде дубовых листьев — символа крепости. — Чтобы ты вёл хозяйственные книги с достоинством, которого заслуживаешь. И помнил, что для нас ты — не управляющий, а опора.

Игнатий, всегда сдержанный, смутился до краёв ушей. Он взял ларец, кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Его жёсткая рука нежно провела по гладкому дереву.

— Игнатий Кузьмич, — наконец выдавил он, — я... мы... это...

— Это — за службу, — закончил за него Иосиф. — И за верность.

Наконец, Иосиф хлопнул по плечу могучего Глеба.

— А тебе, брат-защитник, за оборону имения от всех супостатов, от волков до медведей. — Он вручил ему ножны из грубой шагреновой кожи. Из них Глеб извлёк кинжал с клинком из воронёной стали. Но рукоять была вырезана из оленьего рога, а в навершии был вправлен маленький, не огранённый янтарь, словно пойманный солнечный зайчик. — Для леса и для дома. Чтоб удача в пути не покидала, а зверь чуял, что ты с ним на равных.

Глеб взвесил кинжал в ладони, щёлкнул ногтем по клинку. В его глазах вспыхнул дикий, одобрительный огонёк.

— Вот это... Вещь. Спасибо, Иосиф. Теперь я и впрямь — оборона.

Пир длился до глубокой ночи. Когда гости разошлись, Игнатий, уже полностью владея собой, отдал тихие распоряжения в сенях. Челядь, сонная и довольная, столпилась вокруг.

— Ну что, герои трудовых подвигов? — начал он, обводя всех суровым взглядом. — Посуда, я смотрю, вымыта с таким усердием, будто её царю можно подносить. Особенно тебя, Федосья, поздравляю — на том блюде, где поросёнок был, теперь хоть портрет государя императора отражай. Молодца.

Федосья, румяная девка, смущённо ухмыльнулась.

— Завтра, — продолжал Игнатий, понизив голос до тихого, — Без шума и паники. Всем вдовым и многодетным — по посылке. Чтоб ни одна собака в округе не взвыла от голода, пока у нас праздник был. Понятно? Кто проболтается — тому я лично буду рассказывать про мытьё полов в людской ладошками. Для блеска.

Раздался сдержанный смех. Глеб, прислонившись к прилолке, добавил своё:

— А мне, брат-командир, оставь хребтину от того поросёнка. Я завтра медведю знакомому на опушке занесу. Пусть культурно приобщится к нашему застолью, а не по старинке, по курятникам шастает.

— Договорились, — кивнул Игнатий. — Только смотри, наш «культурный обмен» чтоб без ответных визитов. А теперь все — по казармам. Завтра в шесть подъём, как ни в чём не бывало.

Братья переглянулись — дело сделано, хозяйский пир завершён с той же чёткостью, с какой начинался. Глеб ткнул пальцем в воздух в сторону кабинета — мол, там свои советы держат — и растворился в темноте сеней.

Глава 6. Кабинет

За окнами «Отрадного» стояла тёплая, звёздная августовская ночь.

В доме воцарилась звонкая, усталая тишина. Людмила Юрьевна, подхватив на руки обмякшего, сладко сопящего Сашеньку, поймала взгляд мужа. Её улыбка в полумраке была едва заметна, но он её увидел — тёплую, умиротворённую, полную молчаливого обещания. Потом она скрылась на лестнице, унося их будущее, завёрнутое в кружевное одеяло.

Отец и сын, без лишних слов, направились в кабинет. Иосиф, переступив порог, на мгновение ощутил лёгкий укол ностальгии. Здесь почти ничего не изменилось с тех пор, как он, мальчишкой, ползал здесь под столом, представляя его крепостью. Тот же массивный дубовый письменный набор, потёртый сафьян кресла, глобус, где Балканы всё ещё были окрашены в тревожные цвета «восточного вопроса». Запах — табака, старой бумаги, лакового дерева и лёгкой пыли — был надёжнее любого якоря.

— Пристраивайся, — сказал Илья Николаевич, направляясь к резному шкафу. — На своё законное место.

Иосиф опустился в кресло у камина, где когда-то, не доставая ногами до паркета, впервые увидел карту Кавказа. Позже, готовясь к поступлению в кадетский корпус, он часами сидел здесь, пока палец отца, украшенный печаткой, водил по карте театра Семилетней войны, объясняя манёвры. «Смотри, — говорил тогда генерал, — сила — в движении. Застыл — проиграл. В жизни так же».

Илья Николаевич щёлкнул замком потаённого отделения и извлёк квадратный графин с тёмно-янтарной жидкостью и две гранёные стопки.

— Коньяк. Трофейный, отменный. Для частного совещания.

Он налил, и напиток, густой как мёд, заиграл в свете лампы, отбрасывая золотистые блики на полированную столешницу. Затем генерал достал свою вечную, выкуренную до чёрного лоска, венскую трубку, а сыну протянул плоский серебряный портсигар.

— А это — тебе. Сигары, кубинские. Приятель из морского ведомства прислал. Говорит, выдерживали их на корабле, качало — оттого вкус, мол, особый.

Они закурили. Пламя осветило на мгновение их лица —

отца, покрытого сетью морщин, как карта былых кампаний, и сына, ещё молодого, но с уже затаившейся в уголках глаз усталостью. Дым отцовской трубки, плотный и сладковатый, сплёлся с лёгким, пряным дымом сигары.

— Помнится, — начал Иосиф, наблюдая, как пепел нарастает на кончике сигары, — я тут от гувернёра-немца прятался. Под этим самым столом. А ты газету читал и кашлял специально, чтобы моё сопение заглушить.

— Помню, — ответил отец, выпуская колечко дыма. — А потом матушка твоя находила. Никогда не выдавала. Сиди-лась вот тут, брала томик Кантемира, и читала тихонько. Так тихо, что даже часы в углу замедляли ход. В такие минуты казалось, что весь этот шум мира — за окном.

Они помолчали, и в тишине кабинета стало слышно тиканье тех самых, старых настенных часов. Её отсутствие было тихим, но невыносимо явным — как глубокая пустота от потери в душе Ильи Николаевича.

— Ну-ка, признавайся, — голос Ильи Николаевича стал ниже, почти бытовым, отчего вопрос прозвучал ещё весомее. — Страшно-то было? Не в первый раз, а потом... когда уже знаешь, почём фунт лиха?

Иосиф затаился, давая себе время. Пепел аккуратно стряхнул в медную пепельницу.

— Не страх, батюшка. Пустота, скорее. Когда всё кончается — крики, пальба, — и наступает такая тишина, что в ушах звенит. И ты один на один с этим полем, с небом. И понимаешь, что за этим «ура» ничего нет. Только ты. Или ничто.

— Вот она, служба-матушка, — отозвался отец, глядя в потухающие угли камина. — Не блеск эполет, а вот это одиночество. Ты его прошёл. А теперь скажи — как тут жить-то? Где соловей поёт, а не пушка палит?

Иосиф отпил коньяка, ощущая, как мягкое тепло расходится по телу, смывая остатки внутреннего холода.

— Привыкаю. Как Сашка к новым башмакам — сначала натирает, потом носить начинает. Здесь земля под ногами не дрожит. И пахнет не дымом, а яблоками из кладовой. И Людмила... Людмила смотрит на меня не как на героя с реляции, а как на человека. Это возвращает.

— А он? Сашка? — спросил Илья Николаевич, и в его взгляде, поверх стопки, мелькнула та самая, вековая тревога деда. — Ты о его будущем думал? Видеть в нём продолжение

— и радость, и груз.

— Думал, — кивнул Иосиф. — Не хочу я для него ни сабли, ни этой солдатской доли. Пусть сначала научится слышать. Как ветер в липах шумит. Как часы эти тикают. Как мать смеётся. Чтобы цену миру этому почувствовал, прежде чем его от чего-то защищать. А там... жизнь покажет. Век теперь другой, батюшка. Может, его война будет с другими врагами — с глупостью, с нищетой. И сражаться он будет не шашкой, а вот этими книгами. Или чем-то, о чём мы с тобой и не слыхивали.

Он кивнул на полки, где труды Ломоносова стояли рядом с уставами кавалерийской службы.

Илья Николаевич долго смотрел на сына. Потом медленно, с одобрением кивнул.

— Рассудительнее меня. Мать бы тобой гордилась. Она говаривала: главная крепость — в человеческой душе. А всё остальное — предместья. Слава Богу, ты это вовремя понял.

Они допили. Разговор иссяк сам собой, перетекая в спокойное, усталое молчание двух мужчин, которые сказали друг другу всё, что было нужно, и даже немного больше. Трубка генерала потухла. Сигара догорела. В камине с ти-

хим, печальным шелестом обвалилась головешка, рассыпавшись снопом багровых искр.

За окнами кабинета «Отрадное» погрузилось в глубокий, чёрный сон губернской ночи. Луна, бледная и холодная, плыла над спящими полями, превращая стога сена в прозрачные шатры. Пруд был неподвижной полосой свинца. В усадьбе не горело ни одного огня, кроме тусклого тусклого отблеска масляной лампы из мезонина — там Людмила Юрьевна, наверное, ещё не спала, прислушиваясь к мерному дыханию сына и далёкому крику коростеля в лугах.

В конюшне мирно переступали с ноги на ногу лошади. В деревне, притихшей и тёмной, даже собаки не лаяли — будто и они, сытые барскими остатками, хранили благодарное молчание.

Стояла та особенная, ночная пора, когда время будто выдыхает, а земля, отяжелевшая от летнего зноя и труда, покоится в глубоком забытии. В этой тишине не было грусти — в ней жила надежда. Тихая, как первый луч зари, и прочная, как вековые липы в парке. Надежда на то, что утро будет ясным, что Алексашка вскочит с постели с новыми проказами, что в полях зазвенит коса, а в этом кабинете ещё не раз соберётся их семья — не идеальная, но своя, скреплённая памятью и тихой, ежедневной любовью, способной выдержать

любое завтра.

Иосиф вышел на балкон. Воздух был свеж, пах скошенной травой и далёким дымком. Где-то на болотце крикнула птица — одиноко, резко. Но этот звук не тревожил, а лишь оттенял бездонную, умиротворяющую тишину. Было спокойно. Было хорошо. И в этом покое, под сенью родного дома, тайлось обнадеживающее обещание будущего — не лёгкого, но честного, своего. Будущее это посапывало сейчас наверху, и дыхание его было ровным. А значит, всё шло как должно. Всё было возможно.

#

Книга третья

Наследие

Глава 1.

Детство в отрадном

1794 год

Тринадцать лет — возраст, когда мальчик уже не ребёнок, но ещё не юноша, а неукротимая сила природы, требующая канала. Александр был этой силой воплощённой: заго-

рельи, с выгоревшими на солнце вихрами и пронзительным, аналитическим взглядом отцовских серых глаз. Его вселенная, «Отрадное», за эти годы была изучена вдоль и поперёк, но не потеряла тайны. Его тенью, братом по духу и плоти, был Ильюшка, сын Игната. Мальчик, молчаливый и цепкий, с умением исчезать в лесу и появляться в нужный момент, был для Сашки не слугой, а второй половиной одной отважной души.

Их официальным «укротителем» и проводником в мир цивилизации оставался мсье Леруа. Француз, чьи трагические глаза видели гильотину, а уши слышали грохот падающей Бастилии, вёл с двумя дикарями отчаянную войну за знания. Его учебная программа была обширна: геометрия (чтобы понимать пропорции мира), география (чтобы знать его границы), латынь (для дисциплины ума) и, конечно, французский язык и литература — последний оплот утончённости.

— *Mes petits Cosaques!* — вскрикивал он, заставляя их в оранжерее, где они, используя знания геометрии, сооружали хитроумную систему из ниток, палок и тазов, чтобы поймать самого наглого кота Ваську, воровавшего с кухни рыбу. — Это применение Архимеда — кощунство! Садитесь и переведите с латыни: «*Per aspera ad astra*»!

— Через... тернии к звёздам, — не отрываясь от настройки «капкана», буркнул Сашка. — Вот Васька — тернии, а звёзды — это рыба, которую он съест.

Ильюшка, карауливший у выхода, одобрительно хмыкнул. Мсье Леруа в отчаянии воздел руки, но в уголках губ заплясали морщинки улыбки.

— Безбожный прагматизм! Но... в рамках естественной философии... Ладно. Бросьте. Сегодня Цицерон. Узнаете, как красноречием, а не силками, побеждать врагов.

Шалости их были постоянны и дерзки. Увлечённые ботаникой, подсунули в табак попу сушёный белокопытник, отчего тот чихал целый час, думая, что началась жестокая простуда, и отменил отпевание сторожа деда Луку.

Изучив принципы осады, они соорудили из старых брёвен и холстины подобие батареи на холме напротив птичьего двора и устроили «бомбардировку» спелыми тыквами, едва не разгромив курятник, а затем сбежали прятаться в подвал. В другой раз, увлечённые химическими опытами по книге Ломоносова, они устроили в старой бане «взрыв» из селитры, угля и серы, напугав до полусмерти всю дворню густым едким дымом и грохотом. Апофеозом стала «ночная рекогносцировка», когда они, завернувшись в простыни, изоб-

ражали привидений, навели такой ужас на суеверного кучера Степана, что тот ночью на выездной помещичьей тройке ускакал в Никольское.

Наказание от деда было не телесным, но суровым. Генерал Илья Николаевич, узнав про «бомбардировку, взрыв, попа и Степана», призвал их в кабинет.

— Вы действовали как повстанцы-одиночки, без связи и единого командования! В бане — вылазка, в курятнике — дезертирство! Война — не игра, а дисциплина — мать победы!

— Саша, Илья, — гремел на них генерал, — Вы показали недюжинную изобретательность и полное отсутствие ответственности. Офицер, проявивший такую безответственность в походе, погубил бы вверенных ему людей. Ваше наказание — труд. Завтра на рассвете вы отправитесь чистить родник в дальнем лесу и приводить в порядок тропу к нему. Без помощи. Сделаете хорошо — искупите. Плохо — повторите.

Это был ад. Руки стёрты в кровь, спина горела, но наказание продолжилось на каретной — чистить до блеска все медные детали, а потом переписывать набело главу из «Воинского устава» Петра Великого. Вернувшись к вечеру, они увидели в глазах деда не гнев, а суровое одобрение. Урок

был усвоен железно: свобода кончается там, где начинается опасность для других.

Но истинными университетами были поля и леса. Игнатий учил их не просто охоте, а выживанию.

— Дичь — это не только мясо, — говорил он, разводя костёр без спичек, с помощью огнива и трута. — Это знак. След зайца приведёт к воде. Где рябчик — там и ягода. Голодным в лесу будет только дурак.

Он учил их ставить палатку из плаща-палатки, фильтровать воду через уголь и песок, шить раны грубой ниткой. И всё это — с неизменной долей сарказма.

— Ты, Сашка, — говорил он, глядя, как внук генерала неумело орудует ножом, — если так будешь шкуру снимать, то с неё только рукавицы и шить. А рукавицы, между прочим, и из коры сплести можно. Ты цель помни: зачем шкуру снял? Для тепла? Для красоты? Или просто чтобы убить? Если просто чтобы убить — ты не охотник. Ты душегуб. А душегубу и тайга, и люди — враги.

— А если для тепла? — спросил Сашка.

— Тогда ты хозяин. А хозяин в лесу — гость желанный.

Потому что лес — он не против, когда им пользуются с умом. Он против, когда его портят.

Глеб, наведывавшийся из своей мельницы, был асом экстремальной охоты. Он учил их подкрадываться к уткам против ветра, плывя бесшумно, зажав в зубах тростинку для дыхания. Учил стрелять навскидку, по движущейся цели, и разделять добычу одним точным движением ножа.

— В лесу, ребята, вы либо хозяева, либо гости, — говорил он, и в его глазах светилась древняя, волчья мудрость. — А гостям тут не рады. Особенно тем, кто не знает правил.

— А какие правила, дядя Глеб? — спрашивал Ильюшка.

— А правила простые: не бери лишнего. Не убивай, если не голоден. Не ломай, если не нужно. И всегда благодари лес за то, что дал. Он — живой. Как человек. И память у него долгая.

Вершиной науки был, как всегда, кабинет деда. Теперь уроки стали серьёзные. Он учил их основам фортификации. Особой страстью Ильи Николаевича была картография; он заставлял мальчиков чертить карты местности и планы гипотетических сражений. Офицер должен знать не только, как рубить саблей, но и как читать местность. Тактика и страте-

гия изучались по картам сражений Великой Северной войны. Уставы караульной и гарнизонной службы заучивались наизусть. Фехтование на рапирах требовало не силы, а феноменальной скорости и точности.

— Военное искусство, ребята, — это не драка, — говорил генерал, легко и одновременно отбивая их атаки. — Это высшая математика, где переменные — жизни людей. Ваша задача — решить уравнение с минимальными потерями.

И он рассказывал. О штурме Очакова, где ад был не только вокруг, но и внутри, от жажды. О зимних походах, когда холод был острее любой сабли.

— Запомните, — говорил он, — храбрость без расчёта — это глупость. Расчёт без храбрости — это трусость. А и то и другое одинаково ведёт к смерти. Ваша задача — найти середину.

И вот, в один из таких вечеров, когда в кабинете пахло кожей, табаком и старой бумагой, прискакал нарочный. Конверт был потрёпан, заляпан грязью, но печать с двуглавым орлом — цела. Все собрались в гостиной: дед, Людмила Юрьевна (бледная, как полотно), Сашка и Ильюшка, притихшие у её ног. Читал вслух генерал, его бас дрожал лишь раз, в самом начале.

*«Дражайший родитель, милостивый государь батюшка
Илья Николаевич!*

Любезнейшая и бесценная моя Людмилушка!

И ты, возлюбленный сын наш Александр!

Спешу возвестить вам радостную весть. Его Сиятельство Граф Игельстром, командующий войсками, лично вручил мне знаки отличия. За успешные действия против мятежников под Остроленкой и удержание переправы через Нарев, Всемилостивейшая Государыня Императрица Екатерина Алексеевна Всемилостивейше соизволила пожаловать меня чином подполковника и орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом...»

Дед сделал паузу, посмотрел на внука:

— Слышишь, Александр? Владимир с мечами. Это следующая ступень после Георгия. За дело, достойное истории.

И он продолжил читать описание подвига: как отцу, подполковнику Трубникову, с двумя ротами егерей было приказано скрытно выдвинуться и занять мост, который мятежники готовились разрушить, чтобы задержать наше наступ-

ление. Как они шли всю ночь по болотистой местности, как на рассвете, опередив поляков всего на полчаса, вступили в бой с их передовым отрядом. Как отец, видя, что противник пытается поджечь настил, лично возглавил штыковую атаку через уже занятый огнём мост, опрокинул неприятеля и, получив лёгкую контузию, удержал переправу до подхода главных сил.

«...Тогда я, вспомнив ваши уроки, батюшка, о важности инициативы, принял решение, на которое не имел прямого приказа, но которое диктовалось обстановкой. Оставив одну роту для охраны нашей переправы, с двумя другими я совершил стремительный марш-бросок вдоль берега, чтобы предупредить неприятеля. Мы шли всю ночь, почти бегом. На рассвете вышли к тому месту как раз в тот момент, когда передовые польские хоругви уже подходили к мосту.

Не дав им опомниться, мы открыли убийственный ружейный залп с близкой дистанции, а затем, не дожидаясь их построения, с криком «ура!» бросились в штыковую атаку. Видя наше решительное наступление и не зная наших истинных сил, противник дрогнул. В этот решающий миг я заметил, что их командир, пан в малиновом жупане, пытается восстановить порядок. Схватив мушкет у павшего егеря, я прицелился. Выстрел был удачен — знаменосец упал, а древко знамени скрылось в волнах. Это окончатель-

но посеяло панику. Конфедераты начали отступать в беспорядке, оставив на берегу обоз и три лёгкие пушки.

Но главное было впереди. Укрепившись на захваченном плацдарме, мы не только сорвали их переправу, но и создали угрозу их тылу, что позволило нашим главным силам ударить с фланга и наголову разбить этот отряд на следующий день. Граф Игельстром в реляции отметил: «Подполковник Трубников, проявив похвальную решимость и понимание обстановки, своими действиями предопределил успех всего дела, взяв на себя ответственность в критический момент». Батюшка! Ты поймёшь, что высшая награда — это спасённые жизни солдат и выполненный долг. Людмилушка, родная моя! Не тревожься, я цел и невредим, лишь простудился немного той ночью, но уже здоров. Саша, сын мой! Учись прилежно, слушайся мать и деда, будь смел и справедлив. Я тобой горжусь и мысленно обнимаю.

Ваш до последнего вздоха, любящий вас больше неба и земли, Иосиф».

В гостиной стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь сдавленным вздохом Людмилы Юрьевны. Сашка сидел, сжав кулаки так, что побелели костяшки, его глаза были сухи и невероятно взрослые. Ильюшка, прижавшись к нему, смотрел на генерала с безграничным обожанием.

Генерал Илья Николаевич медленно сложил письмо. Его рука была тверда, но в глазах стояла влага, которую он не позволил себе пролить.

— Вот, — сказал он хрипло, глядя на внука. — Вот что значит быть офицером. Не только взять точку. Но и удержать её. Ценою всего, кроме чести. И всегда помнить, за кого и за что ты дерёшься.

Сашка кивнул, не в силах вымолвить слово. В его душе в тот миг что-то закалилось, как сталь, и что-то навсегда ушло — последние остатки беззаботного детства.

Позже, когда все разошлись, Игнатий нашёл Сашку в саду. Мальчик сидел на скамейке, глядя в темнеющее небо.

— Ну что, наследник? — спросил Игнатий, присаживаясь рядом. — Понял что-нибудь?

— Понял, — ответил Сашка. — Что отец — герой.

— Герой, — согласился Игнатий. — Только геройство, Сашка, оно разное бывает. Бывает геройство на параде — когда всё красиво и все аплодируют. А бывает геройство в грязи, когда никто не видит, когда ты просто делаешь своё

дело, потому что иначе нельзя. Вот это — настоящее.

— А как отличить одно от другого?

— А никак, — усмехнулся Игнатий. — Пока сам в грязи не побываешь — не поймёшь. Но ты, я гляжу, парень понятливый. Поймёшь.

Глава 2.

Последнее лето

Август 1797 года

Имение «Отрадное».

Воздух стоял густой, налитый медовым светом угасающего лета и тревогой, острой, как запах грозы. Шестнадцатилетний Александр Трубников лежал в высокой траве у пруда, глядя, как стрижи, словно чёрные стрелы, прошивают тяжёлое небо. Он пытался запомнить это: шелест камыша, крик дергача, тепло земли под спиной. Детство кончалось не с первым сентябрьским днём, а вот сейчас, в этот самый миг.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.